

## ВЫБОР ПУТИ

*Э.И. Колчинский*  
*Санкт-Петербургский филиал*  
*Института истории естествознания и техники РАН*

**Аннотация:** *В форме воспоминаний рассказывается об обстоятельствах и мотивах выбора автором жизненного пути. В рамках социально-культурного контекста обрисована жизнь философского факультета Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, дана характеристика профессорско-преподавательского состава и некоторых однокурсников. Показано, что действовавшая тогда программа не только способствовала подготовке специалистов, с уважением относящихся к науке, но и, вопреки намерениям властей, стимулировала их критическое отношение к философии марксизма и ко всей коммунистической идеологии.*

**Ключевые слова:** *Ленинградский университет, философский факультет, профессора, доценты, марксизм, буржуазная философия, идеология, скептицизм.*

### *Иррациональность выбора*

Хотя человек считается разумным существом, но самые судьбоносные решения он часто принимает иррационально в силу случайного стечения обстоятельств. Так произошло с выбором мной будущей профессии. После школы я несколько лет работал в изыскательской партии Дорпроекта Южно-Уральской железной дороги, став за два года старшим техником, а порою руководил самостоятельными группами топографов. Большая часть времени проходила в командировках по нескольким областям Урала, Зауралья и Северного Казахстана, что было романтичным, хотя и не очень лёгким занятием. В поле рабочий день был ненормированным, ночевать приходилось в палатках, в казармах путевых бригад, в кабинетах начальников мелких железнодорожных станций, а порой даже в залах ожиданий пассажиров. Питались часто только тем, что можно было купить у местных жителей, а они, как правило, производили только для себя. Все это позволяло лучше узнать, какова реальная жизнь строителей коммунизма, живущих на нищенские зарплаты, в полуразрушенных домах, при крайне скудном ассортименте сельмагов.

В целом мне кочевая жизнь нравилась. За короткий срок я побывал в более ста населённых пунктах, прошёл тысячи километров пешком, порой по тайге и болотам, ведя съёмки под новые железнодорожные пути, линии электропередач, водопроводы, канализации, ну, и ко-

нечно, дома, школы, дома, больницы, депо. Годы спустя, проезжая мимо некоторых мест, где я вёл съёмки, я с удовольствием убеждался, что работа не пропала даром и проекты воплощены в жизнь. Я был лёгок на подъем, трудности переносил легко, мог спать и на земле летом и на холодном бетонном полу зимой на какой-нибудь станции, подстелив овечий полушубок и положив под голову сумку-планшет. К тому же была приличная зарплата. Оплата была сдельной, а как правильно составлять наряды, чтоб никто не смог тебе срезать заработок, я научился быстро и научил своих товарищей. По тем временам мы, 18–20-летние юноши без образования, получали очень большие деньги к зависти не только наших ровесников, но и умудрённых опытом инженеров. Моя мать, проработавшая старшим инженером во Врачебно-санитарной службе около 15 лет и любившая свою работу, сменила ее, мотивируя это тем, что ей стыдно получать намного меньше, чем её младший сын, не пожелавший учиться после школы.

Большую часть зарплаты я отдавал матери, но оставшегося было достаточно, чтобы, не имея особых потребностей в модной одежде и предметах роскоши, чувствовать себя в те годы богачом. В окрестных областях, наверное, не было ни одного приличного ресторана, который мы с товарищами пропустили. Причём, иногда выезжали специально для этого на воскресенье, чтоб сходить в тот или иной ресторан Свердловска, Кургана и т. д. Благо у нас был годовой бесплатный билет в пределах Южно-Уральской железной дороги, дающий право проезда не только в пассажирских, но и грузовых поездах, а в случае необходимости и в кабине локомотивов. К тому же у нас было письмо начальника Южно-Уральской железной дороги, предписывавшее всем службам оказывать нам всяческое содействие. По нашей просьбе диспетчер порой специально останавливал поезда, что давало нам ощущение собственной особой значимости, а свою жизнь состоявшейся и обеспеченной.

Тем не менее довольно случайно я изменил первоначальную установку на продолжение образования, исходя из соображения, зачем мне учиться, когда я могу учить других. Новый 1964 г. мы по принятому тогда, после фильма «Карнавальная ночь», обычаю встречали на работе. В Дорпроект было много молодых архитекторов, художественно одарённых. Они подготовили интересную и остроумную программу, где практически каждому был посвящён какой-то шарж или добродушная эпиграмма. Всем было по-настоящему весело, и мне вдруг захотелось пожить беззаботной студенческой жизнью, о чем я немедленно сообщил окружающим, добавив, что буду учиться только в Ленинграде. Надо сказать, что эта мысль не очень порадовала моё начальства, включая бывшего председателя Челябинского горисполкома М.Д. Захарова, возглавлявшего Дорпроект в то время. Он несколько раз уговаривал меня остаться, обещая перевести вскоре на должность инженера. Тогда людей с техническим образованием ещё не хватало и на инженерных должностях было немало крепких практиков со средним, а порою даже с семилетним образованием. И надо сказать, со своими обязанностями они справлялись не хуже, а порою и лучше дипломированных специалистов. Разные аргументы выдвигал и главный инженер Дорпроекта Я.И. Израилев, знавший о моих ещё детских увлечениях политикой и историей и считавший более целесообразным учиться заочно и в плане будущей карьеры. Тогда на Ленинскую премию была выдвинута книга С.А. Воронина «Две жизни» об изыскателях. Израилев говорил, вот, мол, побродишь ещё по стране несколько лет, узнаешь лучше жизнь, напишешь книгу, мы поспособствуем тому, чтобы ты стал членом Союза писателей, а там и на премию выдвинем. И так, не тратя время лишние годы, ты не только сможешь удовлетворять свои гуманитарные наклонности, но и занять прочное место в жизни. Самое удивительное, что такие вещи всерьёз говорил очень неглупый человек. Но настолько были искажены представления о природе писательского труда. Лишь знание жизни считалось главным гарантом хорошей книги, хотя на самом деле это закрывало путь к полноценной карьере в области идеологии, если ты при этом не желал быть беспринципным конформистом.

Конечно, подобные уговоры льстили мне. Было круто стать инженером в 20 лет, когда мои одноклассники, получая стипендию и грызя гранит науки, лишь через три года получали бы такую возможность при зарплате в два-три раза меньше моей. Но к тому времени кочевая жизнь уже стала казаться однообразной, да и сама работа все более выглядела стандартной. Приезжая на местность, сразу становилось ясно, откуда и как тянуть теодолитный и нивелирный ходы, как организовать съёмку, сколько потребует она времени и т. д. Несколько надоели долгие пребывания в сугубо мужских коллективах, а интриги с местными красотками были опасны, их ухажёры могли крепко наkostenять. Неудобным казалось, если мои слова о том, что я буду учиться, да к тому же в Ленинграде, сочтут пустым бахвальством. Надо сказать, что для этого были основания. Я не относился к числу прилежных учеников в школе, так как, начиная с седьмого класса, перестал делать домашние задания, посвящая массу времени беспорядочному самообразованию. Точнее, читал только то, что меня интересовало. Да и поведение у меня было далеко не образцовым. И по прилежанию, и по поведению, в то время были такие показатели в табелях, у меня были твёрдые тройки, что фактически означало, что я все время балансировал на грани исключения из школы.

Тем не менее, моё решение поддержали родители, переживавшие, что я, в отличие от своих двух старших братьев, останусь без высшего образования, воспроизведя буквально классический сказочный сюжет о двух умных братьях и младшем Иванушке-дурачке. Одобрили они и намерение ехать в Ленинград, где они сами кончали среднюю школу и Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в Челябинске оказались по распределению уже после начала войны.

В Ленинграде провёл детство и юность мой старший двоюродный брат Рид Федорович Брандесов. Здесь он пережил первую блокадную зиму, ушёл добровольцем на фронт весной 1942 г. и попал на Балтийский флот. Из флота, дослужившись до мичмана, он демобилизовался только в 1950 г. Его отец М.Я. Колчинский и отчим Ф.А. Брандесов были расстреляны во время сталинских репрессий, а мать Э.Н. Родкина после освобождения из лагерей находилась на поселении в Казахстане. Так что ехать участнику войны было некуда и он приехал к нам в Челябинск, где со временем на «отлично» закончил Педагогический институт и стал прекрасным методистом преподавания литературы в школе. Несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте, он всегда относился ко мне как к равному, называл «братишкой» и часто вёл разговор о жизни, явно поддерживая мою склонность к истории, особенно к истории дипломатии. Эта склонность выглядела странной в век тотальной индустриализация, когда все, не связанное с производством материальных ценностей и укрепления оборонной мощи страны, казалось пустым времяпровождением. В гуманитарные вузы шли лишь абсолютно неспособные к точным наукам, к числу которых я явно не относился, хотя особой любви к ним и не испытывал.

В рассказах родителей и Рида Ленинград выглядел некоей землёй обетованной, оазисом интеллектуальной жизни, где люди заняты не столько добыванием хлеба насущного, но постоянно ходят в театры, музеи, обсуждают литературные новинки, что, увы, было не столь распространено в Челябинске. В Ленинград после войны вернулись сестры отца и матери. Несколько раз я бывал у них в гостях. И, конечно, эти дни были насыщены массой событий, подтверждавших сформированное представление. В то время никому в голову не приходило назвать город на Неве «бандитским», а в Кремле правили ещё кланы выходцев с Украины. Авторитет города-героя и его жителей в стране был очень высок. Его единодушно считали культурной столицей России, а власть его явно недолголюбивала, устраивая разнообразные «ленинградские дела». И хотя к тому времени город возглавляли «блестящие посредственности» в виде безликих первых секретарей обкома, визитной карточкой Ленинграда были Георгий Товстоногов, Сергей Юрский, Анна Ахматова, Эдита Пьеха, Иосиф Бродский и ещё сотни блестящих артистов, писателей, поэтов. Но истинным народным любимцем в те годы был

Аркадий Райкин, реплики которого становились надолго образцами сатиры и юмора, превращаясь в повседневные присказки и поговорки.

После рекламы скорого отъезда на учёбу в Ленинград встал вопрос: «Куда поступать?», на который я не нашёл твёрдого ответа три года назад, после окончания школы. Строительный факультет ЛИИЖИТ, который окончили мои родители, не казался привлекательным после нескольких лет постоянного столкновения с организацией реального строительного процесса во время командировок. Хотя с детства меня интересовала история, на исторический факультет я также не хотел идти, поскольку мне в голову не приходило, что после его окончания можно заняться наукой, а себя в роли учителя я представить не мог. Философский факультет казался более привлекательным, манил возможностями проникнуть в закономерности исторического процесса. Да и готовили там преподавателей Вузов. Хотя о самой философии я имел самые смутные представления, подержал только в руках учебник Афанасьева и какую-то книгу по марксистско-ленинской эстетике. В газетах «Известия» тогда часто публиковали статьи ректора ЛГУ А.Д. Александрова по всяким философским вопросам естествознания, этики и т. д. Статьи были острые, свежие и интересные, и, возможно, они сыграли окончательную роль в выборе факультета.

Я усиленно готовился к вступительным экзаменам, уволился с работы, прервав свой стаж, что потом мне пришлось многократно объяснять в автобиографиях. Ведь тогда не работали только тунеядцы или осуждённые. Главное внимание я уделил почерку и русскому языку. Мой двоюродный брат Рид был уникальный педагог, у него была своя методика подготовки к экзаменам. Начали мы с ним с того, что взяли тетрадки для второго класса, и я заново учился прописи, и вскоре у меня выработался нормальный почерк. Его система была строго формализована и позволяла анализировать любое произведение по схеме «ЭОЛ», т. е. эпоха, общество, литература, и «ТИКОЯЖ», соответственно — тема, идея, композиция, образ, язык, жанр. Были свои схематизации и по каждому из этих разделов, а также подходов к анализу слов, предложений и т. д. Так как история у меня всегда нормально шла, я к ней фактически не готовился. Я к литературе готовился основательно. Заново перечитал все произведения, включённые в школьную программу. Учил стихи. Начал заниматься немецким языком, но в тот год вступительные экзамены по нему как раз отменили. И правда, зачем нам было знать иностранные языки, ведь тогда казалось, что скоро весь мир заговорит по-русски.

Когда я сдавал литературу и русский язык устно, экзаменаторы явно были удивлены моей системой ответа. Устроенная декламация стихов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.А. Некрасова, а главное — свободное использование различных строк и отрывков в ответе создали впечатление глубокого интереса к российской поэзии. Тогда я окончательно понял, что устный экзамен — сама сильная сторона во мне как в учащемся. Начиная с 4-го класса у меня проявились способности сдавать их на «отлично» даже тем преподавателям, у которых я в течение года с трудом получал тройки. Видимо, адреналин поступал в кровь, мобилизовались все знания, в том числе почерпнутые мимоходом, речь становилась беглой и энергичной, голос крепчал, наглость возрастала и т. д. На истории тоже не произошло осечки. В итоге я получил две пятёрки и одну четвёрку (сочинения), что без всяких вопросов было проходным баллом.

Сейчас я понимаю, что удачная сдача — не только результат особых знаний. Философский факультет считался политико-идеологическим, и хотя партийные и комсомольские характеристики для поступления не требовались, но принимались юноши и девушки, имевшие как минимум два года производственного стажа, а члены партии, комсомольские активисты имели преимущества при поступлении. Первичный отбор проходил во время собеседования, по результатам которого ставилась какая-то отметка, влиявшая как-то на ход экзамена. В общении я познакомился с одним абитуриентом, он поступал третий раз и получил на первых двух экзаменах по литературе и русскому также пятёрку и четвёрку. Насчёт истории у него сомнений не было, да и у меня тоже. Знал он её великолепно. Сдавал он её вместе со

мной и было видно, что его специально валят. И добившись, что он не помнил фамилию машиниста на броненосце «Потемкин», удовлетворенно сказали: «Как вы не знаете таких элементарных вещей» и поставили тройку. Парень не поступил.

Мне повезло, некое подобие такого собеседования — первичного фильтра — выпало на долю будущего действительного члена АПН СССР А.А. Бодалева, по-настоящему крупного учёного. Было видно, что для него роль дознавателя неприятна. Услышав от меня демагогическую фразу, что от изучения конкретной истории я решил перейти к познанию закономерностей всемирного исторического процесса, он поспешно что-то произнёс о моем глубоком интересе к философии, и, задав несколько вопросов биографического характера, отпустил. После окончания экзаменов полагалось ещё одно собеседование, которое на этот раз проводила Л.И. Новожилова, будущий заместитель декана, первый секретарь Дзержинского райкома и директор Русского музея, и какая-то ещё женщина. Лариса Ивановна сразу сказала, что моё заявление повеселило всю приёмную комиссию, так как я просил принять меня по специальности «исторический мат». Разговор был долгий, со многими неожиданными вопросами о политике, о современных литературных новинках, о биографии и о жизни вообще.казалось, что меня прощупывают. Все обошлось, обстановка была доброжелательная. Ларисе Ивановне принесли на подпись какую-то бумагу, и она начала её внимательно читать, прежде чем подписать. Поймав мой удивленный взгляд, она пояснила, что на днях ректор А.Д. Александров выловил заявку от физического факультета, прошедшую все согласования и поступившую к нему на окончательную подпись. В ней шутники-студенты среди всякого оборудования для студенческого отряда на целину просили самолёт ТУ-104 вместе с экипажем.

### *Философский факультет*

Философский факультет в те годы был не очень большой. Только с нашего курса стали принимать по 100 человек, предыдущий курс насчитывал 50 студентов, а все остальные только 25. Состоял он из трех отделений: философского, психологического и научного коммунизма, студенты которого сильно отличались между собой по образованию, интересам, целям. Занимал он меньше половины третьего этажа на Менделеевской линии, дом 7, остальная часть этажа была занята экономистами. Тогда в моде были физики, быть студентом философского факультета, впрочем, как и сейчас, было не очень престижно. Все ещё помнили недавние идеологические погромы, устраивавшиеся от имени «единственно верной философии». Кстати, немногие выпускники факультета направлялись до этого на работы в вузы для преподавания философии. Ректоры предпочитали проверенные кадры из бывших политработников сокращаемой тогда армии.

К тому времени ситуация стала меняться. Многие философы уже не желали быть идеологическими псами партии и не стремились учить естествоиспытателей правильной методологии. Напротив, они признавали ведущую роль естествознания в познании мира и в развитии самой онтологии. Да и отечественные физики, математики и биологи потянулись к философскому осмыслению результатов своих трудов, возобновив контакты со своими учителями и коллегами из западных стран, многие из которых, включая практически всех создателей современной физики и биологии, большое внимание уделяли вопросам эпистемологии и мировоззрения. И здесь уже появился спрос на философски подготовленных специалистов, знакомых с современной наукой.

Хотя я поступил на факультет после трех лет работы, я был чуть ли не самым младшим на курсе среди мужчин. Доминировали ребята, отслужившие армию. Девочки, за исключением юной кореянки, любимицы курса Наташи Тянь, а также энергичной искромётной украинки Людмилы Мацны, тоже были старше меня. Было немало членов партии, вступивших в армию, другие старались поступить во время учёбы, так как понимали, что без партбилета трудно получить работу. Комсомольцами были почти все, кроме двух или трех студентов. Но мы

их сразу дружно приняли. Далее от нас не требовали особой политической лояльности, активности, более того на нашем философском отделении они быстро стали казаться неприличными признаками ограниченности или конформизма. Здесь была наибольшая в те годы концентрация молодёжи, критически настроенной к существующему строю. Не только в частных разговорах, но и на лекциях мы чувствовали себя гораздо свободнее, чем студенты других факультетов.

В общежитии, у сокурсников, которым ты доверял и которые доверяли тебе, всегда можно было взять на день почитать запрещённые книги Б. Пастернака, А. Солженицына и др., первые политические декларации Андрея Дмитриевича Сахарова. Кстати, они мне и тогда казались очень наивными. Мы регулярно слушали «Би-би-си», «Свободу», «Свободную Европу», «Голос Америки», «Немецкую волну», которые, однако, отнюдь не воспринимали как истины в последней инстанции. Внимательно следили за новинками литературы, прежде всего в «Новом мире» и «Иностранной литературе», увлекались итальянским, польским и японским кино. Периодически в городе проводили фестивали зарубежного кино и, потратив массу времени, можно было достать заветный билет на какой-нибудь французский сюрреалистический фильм, идущий в 12 часов ночи, а затем полночи добираться пешком домой. Появлялись на наших экранах и неплохие американские фильмы типа «Нюрнбергский процесс» или «Безумный мир». Да и советский кинематограф тогда явно переживал подъем и премии на самых престижных кинофестивалях были нередки. Входили в моду Эльдар Рязанов и Андрей Тарковский.

На философском факультете ЛГУ в те годы сильно сказывалась противоречивость хрущевского времени<sup>1</sup>. Догматизм и ортодоксия одних профессоров и преподавателей далеко не мирно сосуществовали с жадой перемен и поиском путей обновления другими. С 1959 г. факультет и кафедру диалектического материализма возглавлял Василий Павлович Рожин, присланный из Москвы, где он был проректором МГУ.

Выдвиженец 1930-х гг., внешне он казался ортодоксом, хвастался, что знает наизусть 2500 высказываний классиков марксизма. Но при этом был широко мыслящим руководителем и сыграл важную роль в модернизации философского факультета, добился учреждения новых кафедр и первой в стране вузовской социологической лаборатории. Благодаря ему на факультете стали развиваться такие новые направления как социология, социальная психология, семантика, семиотика, гносеология и др.

На факультете работали великолепные лекторы: гносеолог Лазарь Осипович Резников, освобождённый из заключения в 1956 г., и его талантливая ученица Мария Семеновна Козлова, ставшая крупным специалистом по логическому позитивизму. Большим авторитетом среди студентов пользовался глубокий знаток мировых религий Михаил Иосифович Шахнович и блестящий эрудит в области искусства эlegantный Моисей Самойлович Каган, историки немецкой философии Евгений Иванович Водзинский, Борис Владимирович Орнатский, Зоя Михайловна Мелещенко и Моисей Вульфович Эмдин, отсидевший в сталинских лагерях, а затем долгое время работавший банщиком. Кумиром интересовавшихся проблемой развития

---

<sup>1</sup> Существует ряд воспоминаний о философском факультете тех лет, написанных преподавателями М.С. Каганом и И.С. Коном, принадлежащих, в общем, к одному из конфликтующих в те годы группировок. Принимаюсь за воспоминания 8 лет тому назад, я хотел показать происходящее глазами студента. Когда я уже написал этот раздел, вышли воспоминания моего однокурсника А.Л. Казина «Частицы бытия. Роман с философией» (2013) и учившегося немного позже Г.Л. Тульчинского «Истории по жизни» (2007). И меня поразило, насколько разнятся мои впечатления. Это и стало одним из поводов для публикации моих воспоминаний. На сайте <http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/> я прочитал интервью крупного социолога и специалиста по эстетике Л.Н. Столовича, который рассказывает о восприятии им происходящего на факультете в конце 1940-х - начале 1950-х гг. Разница с нашим временем, конечно, огромная. Но даже в той жуткой обстановке идеологических кампаний смогли выжить и стать крупными специалистами такие философы и социологи, как сам Л.Н. Столович, Ю.А. Асеев, В.Г. Иванов, Ю.А. Красин, Р.А. Медведев, А.Г. Здравомыслов, О.Ф. Серебрянников, В.А. Ядов. В общем, как всегда, каждый поступает так, как ему приказывает внутренний голос.

общества был молодой профессор, высокоэрудированный обладатель двух докторских степеней, историк и теоретик социологии Игорь Семенович Кон. Популярны были также основатели эмпирической социологии в СССР Андрей Григорьевич Здравомыслов и Владимир Александрович Ядов, стажировавшийся в 1963–1964 гг. в Англии. Они стремились как-то синтезировать марксизм с парсоновским позитивизмом.

Ректор ЛГУ А.Д. Александров вёл в те годы свой философский семинар, состоящий из молодых преподавателей с разных факультетов. Из философов в нём участвовали Юрий Алексеевич Асеев, исключённый из партии и уволенный с факультета за нарушение инструкции «О поведении советских граждан за рубежом», исключительно яркая и обаятельная Светлана Николаевна Иконникова, ставшая главой крупной школы социологов, М.С. Козлова и её супруг, в то время морской офицер, интересовавшийся философией Борис Игоревич Козлов, И.С. Кон, В.А. Ядов.. На этих семинарах обсуждали проблемы социологии, теории относительности, генетики, эволюционной теории. Характерной чертой всех вышеназванных профессоров было стремление под видом критики буржуазной философии и социологии внедрить в практику обществоведов в СССР новейшие зарубежные концепции. В какой-то степени им это удалось. Они воспитали несколько ярких и высокообразованных специалистов в области гносеологии, истории философии и социологии, создавших позднее собственные школы.

Все это сказывалось на общефакультетском климате. Существовала какая-то раскрепощённость в мышлении, в выступлениях. Мы не были диссидентами, но лояльных к власти было немного, и они старались не засвечиваться. Сотрудничество с органами, как и везде, считалось позором и все рассказы о том, что кто-то по высоким соображениям выбрал карьеру в КГБ звучат неправдоподобно. Было твёрдое убеждение, что приличные люди не могут туда пойти работать. Это я однажды услышал в виде реплики из зала во ВГИКе, куда я приехал на майские праздники к моему другу детства Юрию Шиллеру, ставшему сейчас знаменитым режиссёром-документалистом. У нас на факультете ценилось вольнодумство и фрондёрство. Я всегда был критически настроен к существующему строю и ещё в школе часто «кощунствовал», как говорили мои одноклассники. Но о чем мы говорили в Челябинске только в своей компании, а если в ресторане, то шёпотом, все это говорилось здесь на лекциях, в открытую. В первые годы учёбы в университетской библиотеке, на полках, в открытом доступе лежали книги З. Фрейда, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, которые, к сожалению, вскоре исчезли, но их ещё два-три года можно было купить в букинистическом магазине или взять почитать у товарищей, так как за годы учёбы многие из нас составили неплохие библиотеки. К сожалению, к концу учёбы старые книги резко подорожали, в их закупке и продаже власть установила жёсткий контроль.

Многие курсы, и прежде всего история философии и критика буржуазной философии, сами по себе не могли не порождать критически настроенных личностей. Лекции и семинарские занятия по истории философии читали люди увлечённые своим предметом, излагающие его интересно, творчески, хотя и в очень разной манере. Начиная от млеющей от античной философии В.Я. Комаровой и холодно-сдержанного Е.И. Вадзинского, до язвительного М.А. Кисселя, как бы уличающего самой интонацией своих лекций студентов 5 курса, что философию как таковую они так и не знают и не понимают, хотя и проучились пять лет. С чем в принципе большинство из нас готовы были согласиться. М.А. Киссель поведал о сути буржуазной философии, которая оказалась завораживающе интересной. Он раскрыл многообразие её проблематики и научил анализировать философские произведения по-другому, чем это было принято тогда в литературе.

Было невозможно даже за пять лет уловить все многообразие концепций, как-то разобраться в них и осознать. В этом отношении наиболее последовательным был один из студентов старшего курса Е.С. Линьков, изучивший только философию Шеллинга, принёсшую ему впоследствии славу оригинального мыслителя у нескольких курсов в 1970-х гг. Мне

же немецкая классическая философия всегда была чужда, чтение первоисточников сведено было к минимуму, особенно их русских переводов. К удивлению, я от З.М. Мелешенко получил «отлично» по Гегелю, но скорее её подкупила моя эмоционально-увлечённая манера отвечать, чем содержание ответа. Хотя «Феноменология», попавшаяся мне на экзамене, было единственным трудом Гегеля, который я дочитал до конца. Во всяком случае, постоянный переход от одной системы к другой, каждая из которых оказывалась несостоятельной и ошибочной, неизбежно порождает дух критицизма и скептицизма. И в конце трудно было поверить в то, что истину обрели только в марксизме.

Даже на семинарах по истории партии было достаточно интересно, вспыхивали острые дискуссии. Правда, после одной из них наш лектор по истории КПСС М.О. Малышев, предупредил меня, что в деканате его спрашивали о моих вопросах и выступлениях на семинарах. Я обещал больше не умничать и замолк, тем более что на этих семинарах в основном разбирались работы В.И. Ленина, в которых в отличие от некоторых своих однокурсников я уже тогда не надеялся найти сокрытую от нас властями правду жизни. Не особенно уверен, что его вызывали в деканат, скорее ему просто не хотелось, чтобы я будоражил публику, создавая проблемы и стимулируя остальных к ненужным дискуссиям. На экзамене мне попались в одном билете две ленинские работы — «Военная программа пролетарской революции» и «О лозунге Соединённых Штатов Европы», которые я не читал, а о первой даже никогда не слышал. Усвоив к тому времени, что лучше нести ахинею, чем молчать, начал фантазировать о первой статье, которая, по-моему мнению, должна была относиться ко времени гражданской войны. Из иронических наводящих вопросов Малышева на мой вдохновенный рассказ о принципах создания Красной Армии я понял, что поехал не в ту степь, быстро переориентировался, хронологически связал первую статью со второй, попав на этот раз точно в 1915 г. Малышев поставил мне «отлично», но предупредил, что в дальнейшем попытки выезжать на старом багаже знаний, приобретённом до университета, кончатся плохо: меня обойдут мои более усердные однокурсники, тщательно конспектирующие все труды классиков марксизма-ленинизма. К счастью, он не совсем был прав в своих прогнозах, именно идиосинкразия к их конспектированию помогла мне искать нестандартные решения. Впрочем, и тщательное изучение первоисточников позволило ряду моих однокурсников, например, Косте Сергееву, стать хорошими историками философии.

Как ни странно, но курс лекций по истории КПСС Малышев читал интересно, логически продуманно, с некоторой слегка заметной долей сарказма. После октябрьского съезда ЦК КПСС 1964 г. было опубликовано только сообщение об освобождении по болезни от должностей Н.С. Хрущева, а также снятии И.Ф. Ильичева и А.И. Аджубея, как говорили злые языки, по болезни Хрущева. Вместо очередной лекции Малышев два часа рассказывал о самом Пленуме и о претензиях в адрес Хрущева. Точен был его ответ на вопрос, почему так скудна обнародованная информация. «Так ведь речь идёт о предсовмине СССР», — сказал он. На следующий год Малышев перешёл на кафедру истории искусствознания, как я подразумеваю, избавился от ненавистного ему курса истории КПСС. В дальнейшем он был учёным секретарём ЛГУ, директором университетской библиотеки.

К концу первого курса нам стало известно, что он на самом деле подлинный герой Великой Отечественной войны, что-то вроде позже появившегося Штирлица. Служил в школе Абвера, готовил диверсантов, засылаемых к нам в тыл, а их имена сообщал советской контрразведке. Общее число их оказалось свыше 150. В университете об этом узнали случайно, кто-то, увидев его, стукнул куда надо, что дескать историю КПСС в ЛГУ преподаёт фашистский преступник и офицер абвера. Срок давности о засекреченных агентах у немцев, видимо, прошёл, и органы, ответили: «Не волнуйтесь это не замаскировавшийся враг, а подлинный герой». Когда немцы проверяли Малышева, они его зверски пытали, отпилили полступни, но он ни в чем не сознался. Об этом в дни 20-летия победы над Германией писали в газетах и говорили по радио. Недавно о нем был снят документально-игровой фильм. Сам



Малышев о своих военных подвигах предпочитал помалкивать, и от вопросов на эти темы уходил. Он не требовал от нас проработки документов партийных съездов.

Заседания, семинары на политические темы не практиковались в университете, точнее были не в моде в университете, ведь были семинарские занятия и лекции по научному коммунизму. Но и здесь преподаватели политические штампы произносили насмешливо, даже с какой-то издёвкой. Я помню лекции по научному коммунизму Н.М. Кейзерова, который накануне десять месяцев провёл во Франции, как раз во время студенческих волнений и всеобщей забастовки 1968 г. В начале каждой лекции он говорил: «Запишем план лекции», и в качестве пунктов давал некоторые «дубовые» клише из газетных заголовков, типа «Современная революционная ситуация и национально-освободительное движение», а далее продолжал примерно в таком духе: «В тот момент, когда противостояние коммунизма и империализма достигло наибольшей степени, я был во Франции...» и всю лекцию нам рассказывал, как прекрасно живёт Франция. Скорее это были лекции по либерализму, чем по научному коммунизму. Вообще официальная идеология в те годы на занятиях открыто презиралась и под видом творческого овладения материалом можно было с преподавателем затеять острую дискуссию о целесообразности и цене Октябрьской революции, о противостоянии двух блоков и возможной конвергенции капитализма и социализма.

Интересными для меня оказались лекции по математике и естествознанию, особенно по химии профессора Р.Б. Добротина и по физике профессора С.Ф. Родионова. Они не имели ничего общего с нынешним издевательством над современной наукой, названном курсом «Современные концепции естествознания», которые, как правило, читают люди ничего не понимающие в этом самом естествознании. Особенно завораживающими были лекции Родионова в хорошо продуманной артистической манере, строго рациональные и с демонстрациями опытов, которые проводили тщательно выдрессированные ассистентки. Перед ним стояла сложная задача изложить современную физику людям, большинство из которых имели смутные представления об основах высшей математики, и как-то ему это все же удавалось. Никогда не забуду его ответ на вопрос, что следует почитать для лучшего понимания теории относительности. «Читайте самого Эйнштейна», — ответил профессор со скрытой иронией не только по отношению к спрашивавшему, но и ко всем популяризаторам науки. Увы, зачёт я ему сдавал в основном по А.В. Перышкину, так как С.Э. Фриш и Е.М. Лившиц остались в целом недоступными, хотя некоторые разделы физики я на первом курсе пытался узнать из них.

К экзамену по химии я готовился по учебникам Н.Л. Глинки и Л.К. Полинга, с удивлением обнаружив, что химия не столь уж хаотична, как мне показалось в школе. Этот экзамен положил начало первой сессии, блестящий историк науки Добротин был снисходителен, первый блин не вышел комом. Особенно удивительным стало для меня, что в следующем семестре преподавательница органической химии после сдачи моего зачёта пошла даже в деканат просить как-то отметить мои блестящие знания по химии. Скорее это свидетельство того, как легко было прослыть знатоком естественных наук на философском факультете. В то же время здесь бесспорна и заслуга моей школьной учительнице по химии Александры Михайловны Рольшиковой. Как я убедился, твёрдая тройка у неё значила больше, чем пятёрки у золотых медалистов ленинградских школ. Впрочем, то же самое я могу сказать о других предметах.

Аналогичная картина сложилась у меня по математике у Шаповалова. Не вызвала у меня трудностей и математическая логика, которую великолепно читал на втором курсе гигант с печальными чёрными глазами И.Н. Бродский. Он явно оживился, когда на предложение привести хоть одну какую-либо форму логического вывода я привёл все тридцать с чем-то из его же учебного пособия и даже объяснил их смысл. Потом я помогал готовиться к этому экзамену некоторым однокурсникам и обнаружил, что для них этот смысл не был так очевиден. На зачёте по кибернетике, которую я самостоятельно тогда изучал по книгам Норберта Винера и Уильяма Эшби, но лекции по которой я не посещал, преподаватель дал какую-то задачу, и я сразу дал ответ, который, как ни странно, оказался правильным. Но он по-

требовал формулу выведения, а формул я не знал. Тогда он спросил, что такое булево кольцо и был, видимо, потрясен наглостью ответа. Мол, был английский математик Джордж Буль, у него было кольцо, отсюда и пошло — булевы кольца. Но зачёт поставил, впрочем, как и всем остальным.

При Рожине на факультете работали И.С. Кон и В.А. Ядов, которые для многих открыли мир буржуазной социологии, немарксистских трактовок личности. И.С. Кон был особенно популярный своими лекциям по сексу, которого, как известно, в СССР не было, и поэтому слушатели страстно хотели узнать, что это такое. Незабываемая картина: юные, чистые девушки, привыкшие записывать за лектором каждое слово, высунув язык, конспектировали сведения о стадиях и формах оргазма. Эти лекции Кона проходили в большом зале-амфитиатре исторического факультета, где набивалось, наверно, человек триста. Сидели на ступеньках, около кафедры, разве что не висели на люстрах. А вот на его лекциях по историческому материализму ажиотажа не было, на это Кон обижался и на экзаменах зверствовал, что не было принято на нашем факультете.

Я старался прочесть основные труды И.С. Кона, особенно по социологии личности. Они, выделяясь новизной на фоне марксистской ортодоксии, скорее закрыли, чем подкрепили мой интерес к историософии. На первом курсе я попал на его научный доклад о структуре личности, проходившем в 150-ой аудитории. Б.Г. Ананьев громил ролевой подход, указывал на плохое знание докладчиком физиологии ВНД и психологии. Кон отшутился, что в отличие от тезиса марксизма о том, что познание идёт от незнания к знанию, он следует путём от малого незнания к большему незнанию. Дискуссия не состоялась, и у меня пропало желание заниматься социологией, хотя за работами в этой области я по мере сил стараюсь следить и в наши дни, а работы Кона, если попадались, читал с удовольствием.

В отличие от Кона В.А. Ядов был либеральным преподавателем, хотя его труды по социологии критиковали не меньше. Особой популярностью пользовались проводимые им в Кярику социологические семинары, но исследования по социологии труда казались приземлёнными и очень далёкими от вскрытия исторических законов. Тем не менее многим из студентов был понятен масштаб личности В.А. Ядова. 15 лет спустя мне довелось проработать вместе с ним несколько лет и было приятно убедиться, что студенческие оценки были верны. Весьма интересны и неортодоксальны были многие пассажи в лекциях В. Почепко. А Ю.С. Мелешенко захватывающе рассказывал о перспективах научно-технической революции.

Особой популярностью пользовались лекции по эстетике М.С. Кагана, которые в шутку просил не путать его фамилию с пошлой анекдотической фамилией Когана. В свои 50 лет он был очень подтянутый, элегантно одетый и подчёркнуто вежливый. Каган был подлинный интеллигент и джентльмен, что многим слишком брутальным преподавателям не нравилось. Но девушки от него млели. Личностью он был явно творческой. Об оригинальности его вклада в эстетику я судить не берусь, но лекции его привлекали безукоризненностью форм и свободным оперированием примерами из разных сфер культуры. Умело снимал напряжение, шуткой, анекдотом, рассказывая которые оставался абсолютно невозмутимым. У Кагана была очень необычная манера приёма экзаменов: раздав вопросы, он уходил, а экзаменуемые должны были написать, точнее списать ответ. Вернувшись, он читал подготовленное и, не задавая вопросов, ставил обычно «отлично». Видимо, берег нервную систему от нелепых суждений. А таковых было, видимо, немало. Об одном он сам рассказал. На вопрос «Образ как ячейка художественного произведения» экзаменуемый, видимо отождествив художественный образ с иконой, ответил: «Образ — опиум для народа». Интересны были его рассказы о корреляциях интеллекта исполнителя с видом музыкального инструмента. Больше всего он ценил скрипачей.

Диалектический материализм у нас читало несколько профессоров, в том числе В.П. Тугаринов и В.И. Свидерский, между которыми шли какие-то малопонятные нам споры.

За Свидерским была слава специалиста по пространству и времени, со взглядами которого считались физики. В наши дни Владимир Иосифович был поглощён соотношением структуры и элементов, требуя от всех освещения этой проблемы. Тугаринов был инициатором ряда направлений в советской философии, но манера чтения лекций была обескураживающей. Услышав, что «явление — это то, что является», а «сущность — это то, что существенно», я посчитал излишним их посещение. Единственный, кто блестяще читал лекции по диалектическому материализму, был доцент Вячеслав Григорьевич Иванов. Он специализировался в области философских проблем физики, но отлично знал историю философии и филигранно раскрывал все сложности категорий. На спецкурсах и семинарах Л.О. Резникова, В.А. Штоффа и М.С. Козловой мы узнали о современной гносеологии и методологии, и позитивизм лично для меня стал весьма уважаемым течением. Впоследствии мне не раз приходилось выслушивать упрёки за приверженность позитивизму.

К тому времени Лазарь Осипович Резников уже был не молод, а годы заключения не пошли на пользу его здоровью. Несколько лет тому назад в делах Отдела науки ЦК КПСС мне стало известно, за что его посадили. Оказывается на его кафедре в Ростовском университете была подготовлена диссертация о случайности и закономерности в истории, тема стократно защищаемая в те годы, в которой, казалось, нельзя было ничего крамольного сказать. Но соискатель умудрился, доказывая ортодоксальные вещи, в качестве примера о появлении вождей пролетариата сказать, что и вожди появляются с железной необходимостью, а то, что именно оказались Ленин и Сталин это уже случайность. Диссертация прошла на ура, ВАК утвердил, но спустя несколько месяцев кто-то стукнул и диссертант пошёл по этапу как враг, а Резников — за проявленную беспечность. Вообще на факультете было несколько человек из репрессированных.

Я назвал только нескольких из своих учителей на первых курсах. Но не хотел бы выделять кого-то особо, ибо все преподаватели факультета воздействовали на студенчество как нечто целое, хотя все были при этом очень разные, делясь на две главные группы: догматиков, к которым относили А.К. Белых, А.А. Галактионова, В.Я. Ельмеева, П.Ф. Никандрова, и либералов. Мои симпатии были на стороне последних. Но сейчас я понимаю, что деление порой было условно, много зависело от возраста, участия в Великой Отечественной войне, от образования, близости к партийным кругам. К тому же на идеологические разногласия нередко накладывалась карьеристская мотивация, всегда сильная на факультете, где каждый, привыкнув расправляться с великими философами, считал себя равным им, и никто для него был не указ.

Для моего становления важны были не сами учителя, а дух философского факультета, по тем временам необычный, — дух вольнодумства и демократии. Это всегда отличало ленинградскую философию. Ты мог вступить в диалог с любым преподавателем, а потом пойти с некоторыми из них и крепко выпить коньяка в подвале, в начале Невского проспекта. Заместителем декана философского факультета на первых курсах была С.Н. Иконникова, сейчас она крупный профессор, а тогда молодой доцент, не только присутствовавшая на наших студенческих вечерах, но и лихо отплясывавшая вместе с нами осуждаемый тогда чарльстон и буги-вуги. Она умело разруливала сложные ситуации, случавшиеся в общежитие: пьянки, драки и даже стычки с неграми, которые часто вели себя бесцеремонно, пользуясь безнаказанностью. К счастью, двое африканцев на нашем курсе были тихи и безобидны. По-русски они говорили плохо, и чему они могли научиться, я не знаю, но экзамены они сдавали. Правда, их сдавали почти все, тройки были редкостью. Впрочем, это было также частью общей установки на либеральное отношение к студенчеству.

Политэкономия нам читал В.Л. Шейнис, впоследствии известный деятель демократического движения, депутат Государственной думы. Читал он хорошо, высказывал немало крамольных по тем временам вещей. Особенно интересно было слушать его анализы политического и экономического положения в африканских странах, например, в Нигерии. Но его со-

ветам читать «Капитал» К. Маркса я не последовал, ограничился лишь учебником по политэкономии капитализма, который, кстати, был весьма содержателен. На экзамене я получил первую четвёрку за все время обучения, что неожиданно для себя тяжело переживал, хотя в школе к оценкам относился очень равнодушно.

Блестяще и зло читал курс по политэкономии социализма С., гроза студентов, оставлявший традиционно половину четвёртого курса без стипендии. Злые языки говорили, что он написал диссертацию о пользе совнархозов и успел её защитить, но вышло постановление о ликвидации совнархозов и диссертацию не утвердили. Поскольку материал был собран. С. быстро его проинтерпретировал по-новому, доказывая вред совнархозов. На этот раз его не допустили к защите из-за отсутствия принципиальности. Он махнул рукой, диссертаций больше не писал и отыгрывался на студентах, которые, конечно, на самом деле не знали ничего. Да и, собственно говоря, негде было узнать. В учебниках по социализму была абсолютная белиберда об отсутствии прибавочной стоимости при социализме и преимуществах социалистической экономики. Мне удалось избежать встречи с ним. Партнёры по преферансу с экономического факультета устроили сдачу у аспиранта, который был его ассистентом. Вообще с курсами по основным источникам марксизма я испытывал некоторые сложности. Как раз по ним у меня единственная тройка и четвёрка в дипломе.

Через много десятилетий, я взял в руки труды тех лет некоторых уважаемых мной тогда профессоров и порой был разочарован. Но не следует принижать их заслуги. С тех пор прошло более 40 лет. Для современной науки это целая эпоха. А если учесть, что речь идёт все-таки о философии, тесно связанной с социально-политическим строем, который исчез, то было бы наивно сравнивать нынешние и прошлые труды. Тем более что по глубине постановки проблем последние мне и сегодня кажутся предпочтительнее. Достаточно вспомнить классические работы Виктора Александровича Штоффа, открывшего целую эпоху в философском осмыслении проблемы моделирования. То же самое можно сказать практически о каждом из вышеупомянутых преподавателей философского факультета. Все они были яркими творческими личностями. Им, а также подавляющему большинству других преподавателей я благодарен за то, что их трудами сохранена преемственность философской культуры.

Говоря об учёбе на философском факультете, я вспоминаю не столько отдельных его преподавателей, сколько, скорее, его обычаи и нравы, и прежде всего, фактически свободное посещение. Мы ходили только на интересные лекции, на других могли присутствовать один или два человека. И оказавшиеся в таком положении лекторы, включая и профессоров, а их тогда было мало, и они себя очень ценили, не спешили бежать в деканат с требованием принять дисциплинарные меры. В некоторые семестры я посещал буквально один — два курса лекций, а все остальное время занимался тем, чем хотел, посещал лекции по другим специальностям. Много времени на втором и третьем курсах посвятил преферансу.

На философском факультете была широко распространена практика досрочной сдачи экзаменов, что позволяло лучше планировать свое время. Некоторые даже на год раньше получили дипломы. Другие, сдав к концу третьего года, основные экзамены, оставшееся время целиком посвящали подготовки курсовой и дипломной, и к концу обучения имели хороший задел для диссертации. Третьи усиленно занимались самообразованием, навёрстывая упущенное в молодости и вырабатывая собственное мировоззрение.

### *«Как в студенческой нашей гульбе...»*

Такими словами вспоминал наш общежитский быт один из самых неординарных студентов нашего курса Коля Ляпин спустя несколько лет после окончания факультета. Он был родом из какого-то нищего рабочего посёлка где-то под Воронежем, отслужил армию и долгое время ходил в солдатской форме. Ему никто не помогал и стипендия была, пожалуй, основным источником его существования. Мы с ним оказались на первом курсе в одной

группе и он произвёл на меня впечатление вульгарного, плохо воспитанного и не очень образованного человека, говорящего нескладно и порою не знающего элементарных вещей. Тем не менее, он умудрялся сдавать почти все экзамены на «отлично» и ему симпатизировали порою самые рафинированные девочки-эстетки. Со временем стало ясно, что за грубой, в чем-то неотёсанной формой скрывается мечущаяся душа, яро ненавидящая власть и пытающаяся понять суть происходящего с наивной надеждой на то, что затем словом можно будет все исправить. Со временем выяснилось, что Коля с утра до вечера пишет стихи, подражая В.В. Маяковскому, и подготовил их целые серии. Вообще эти стихи были антисоветские с начала до конца, пронизанные злобой к любой власти как народному кровопийце<sup>2</sup>. Это был подлинный концентрат ненависти народной к своим насильникам.

Постепенно он стал одной из ключевых фигур нашей компании, считал меня своим близким другом, особенно после того, как я сказал ему, что он настоящий поэт. Это ему многие говорили, но почему-то моё мнение он особенно ценил, хотя по большому счёту я никогда не понимал и сейчас не понимаю поэзию, хотя стихов знал наизусть много в силу хорошо развитой механической памяти. Коля Ляпин писал злобные антисоветские стихи и во весь голос пел под гитару «Ох и хитрая ты проститутка, уважаемый наш ЦК». И это ещё было самое безобидное. Ходил с гитарой, перевязанной бантом и пил по-чёрному, подражая уже Сергею Есенину.

Его песни записывали на плёнку, они расходились по всему общежитию и университету. Иногда магнитофон выставляли в окно и отборная антисоветчина гремела на весь Новоизмайловский проспект. Но как-то обходилось. На четвёртом курсе новой замдекана надоели подобные демонстрации и она решила неофициально поговорить с Колей Ляпином на студенческом вечере, а он польщенный её вниманием выложил ей все свои подборки типа «Москва разгульная», «ЭСЭСЭСЭР — тюрьма народная», «Ж... на блюде» и т. п., сдобренные обильно феней, а то и матерком. Бедная женщина бледнела, краснела, и с трудом прервала поэтический поток. В ближайшую сессию Ляпин получил три двойки и никак не смог их пересдать. Ему грозило исключение, но мы на комсомольском собрании заступились, добились, чтобы ему дали возможность переиздать и вообще не прессовали. Осудили также однокурсников, нежелающих помогать такому таланту, и в деканате махнули рукой, посчитав за лучшее не поднимать шум.

Ляпину дали закончить университет, но в характеристике написали, что рекомендуют на должность лаборанта, т. е. без права преподавать. Он все-таки устроился где-то на родине в вуз, но там столь вольное поведение не поощрялось, его быстро выгнали, и далее всю жизнь он скитался, работая кем придётся, то грузчиком, то воспитателем, но, в конечном счёте, стал вольным поэтом, был вхож к некоторым тогдашним знаменитым вольнодумцам, но помощи у них не нашёл. Его главная мечта была выпустить сборник стихов. Пару раз ему удалось даже договориться, но в последний момент он вставлял такие стихи, что для любого издателя не только их выпуск, но и продолжение знакомства было равносильно карьерному самоубийству. Погиб он незадолго до начала перестройки под колёсами электрички.

Распорядителем его творческого наследия стал мой друг Володя Томилов, напечатавший много стихов в периодической печати и в своих книгах. Но их содержание уже перестало быть актуальным, а о форме я судить не берусь и теперь. Часть этих стихов были посвящены мне, но затем, он, видимо, разочаровался в моих гражданских чувствах и написал «Если ты не творишь, я тебе руки не подам, паразиту...». Под творчеством он в тот момент понимал, что надо писать так, чтобы народ сразу понял, что и как делать, а испуганная власть сама бы осознала неправоту и ушла бы в небытие. Он до конца остался сложной смесью ро-

<sup>2</sup> Один из наших одноклассников Володя Томилов стал большим поклонником творчества Николая Ляпина, много сделал для его пропаганды, в том числе и в последней книге «Коммунизм как искушение властью» (2013).

мантики и реальности, чистоты и пошлости, ума и наивности и т. д. Его талант остался невостребованным, так как он был крайний нонконформист.

Студенчество философского факультета в те годы поражало разнообразием личностей, как, наверно, ни одно другое учебное заведение. Увы, большинство наших однокурсников, включая меня самого, не понимали, зачем они поступили, кем они будут после окончания, чему их учат и чему надо учиться в первую очередь. Как удачно сказал Сергей Довлатов, на философский факультет поступают те, у которых весьма странные представления о реальности. И в других вузах такие студенты попадаются, но здесь их было очень много, а способность к рефлексии ещё больше затрудняла учёбу. Многих сперва заворожил буквальный перевод философии — «любовь к мудрости», значит философ — мудрец, а кто ж не хочет быть мудрецом. Но вскоре самые «мудрые» понимали, что вот как раз мудрости научиться нельзя, а словоблудию и пустословию — легко. В разгар споров о предмете и методе философии родился анекдот: предмет философии — пустословие, а метод — словоблудие. Кто-то пришёл понять смысл происходящего, а кто-то и жаждал изменить существующее. На каждом курсе рано и поздно оказывались люди, составлявшие программы борьбы за чистоту марксизма-ленинизма и свержения существующего строя.

Встречались карьеристы, надеявшиеся, что философское образование облегчит путь наверх, они в основном концентрировались на отделении научного коммунизма, и сперва некоторые из них продолжали верить в возможность его построения. Но и на этом отделении были критически настроенные личности, например, Миша Борщевский, Леня Челедзи и Толя Михеев, с которым я подружился уже после окончания университета в калымных бригадах в Коми ССР и в Херсонской области. Другие интересовались искусством и хотели изучать эстетику. Немало было и просто неглупых и неплохо образованных людей, которые успешно могли и учиться или уже учились в других местах, но там им не понравилась жёсткая дисциплина и обыденность специальности и захотелось что-то для души, а что из этого получится — они не хотели загадывать.

В какой-то степени таковыми были латгалец Илмар Башко из Риги и ленинградцы Витя Аполлонов, Валера Лапицкий и Игорь Шмерлинг, с которыми мы на первом курсе решили создать клуб «БЫК», т. е. «Банда ынтеллигентствующих кустарей», с целью неформального общения и бесед по поводу текущих событий и новинок литературы, театра и кино. Предложение о подготовке программы и выработке принципов организации клуба было отвергнуто, и после моего переезда в общежитие клуб в полном составе не собирался, хотя с Башко мы проводили много времени вместе. Благодаря ему я основательно познакомился с кино и изобразительным искусством. В Ленинграде он проживал на Дербтской улице в комнате старшего брата Раймонда, прописанного в Ленинграде, но находившегося в постоянной командировке в Риге, где у него была семья. У Илмара было удобно собираться, отдельная комната была в те годы редкостью, и порою на 10 квадратных метрах собиралось около 20 человек, курящих, пьющих, поющих, танцующих. Когда меня выселили из общежития за конфликт с комендантом, Илмар приютил меня на несколько месяцев. Несколько раз я бывал у него в Риге, довелось мне собирать вместе с Раймондом в последний путь его отца. Был он и у нас зимой в Челябинске, где, правда, быстро заскучал, так как я сразу тяжело заболел, добравшись до дома.

Илмар вырос в интеллигентной латышской семье, ориентированной на дружбу с Россией. Его отец был депутатом латышского сейма, принявшего решение о вступлении Латвии в СССР, а мать ученицей крупного ленинградского экономиста С.И. Тюльпанова, зятя Г.К. Жукова. Ленинград Илмара привлекал как крупнейший культурный центр, который он старался использовать с максимальной эффективностью для самообразования. В отличие от меня он был очень дисциплинирован, лекции аккуратно записывал. Старался говорить и думать только по-русски, к концу обучения акцент почти не чувствовался и никаких снисхождений от преподавателей на экзаменах он не получал. Читал обычно лежа, слушая по редкой тогда «Спидоле» в экспортном исполнении зарубежные голоса. Был большой поклонник «Битлз».

На третьем курсе трагически погибла мать, врезавшись на полной скорости в бульдозер, стоявший посредине шоссе в глубокой тьме без ограничительных огней. Вскоре скончался отец. Илмар внезапно перестал быть юношей из благополучной семьи. Что-то сломалось и в его отношении к учёбе. Он не смог заставить себя написать диплом, и, в конечном счёте, уехал, отказавшись пойти на работу в Рижский университет, хотя ректор, живший в том же подъезде и друживший с родителями, буквально умолял его об этом. Убедившись, что будущая работа требует лицемерия, он не пошёл на компромисс и предпочёл стать строительным рабочим в калымной бригаде. В последний раз я его видел в Риге осенью 1989 г., он почти не изменился, но странно было сознавать, что самый образованный и интеллигентный однокурсник, доброжелательный, прилежный и хорошо воспитанный, отказался от научной и преподавательской карьеры. А ведь он был к тому же красавец, мечта всех девушек философского факультета, но и здесь он не пошёл на временные компромиссы, мечтая о большой и светлой любви. К сожалению, после обретения Латвией независимости жизнь его сложилась трагически. Из квартиры родителей в центре Риги его выселил прежний владелец, оплачивать новую также не было средств, так как, калымя всю жизнь, он формально не имел стажа и не заработал трудовой пенсии. К тому же он потерял две ноги и по последним сведениям должен был переехать в дом для инвалидов.

Лапицкого и Шмерлинга, как ни странно, объединяли, прежде всего, способности к любовью интеллигентной деятельности. Они учились ровно, легко, в равной степени не боялись ни точных, ни гуманитарных наук, свободно «спикали» по-английски, увлекались преферансом, что заставляло нас проводить много времени вместе на последних курсах. Они оба специализировались по диалектическому материализму, что мне было непонятно. Оба кончили с красными дипломами, поступили в аспирантуру и в срок защитили диссертации, каждая из которых стала заметным событием в уже набравшем обороты безликом потоке кандидатских и докторских диссертаций. Валеру оставили на факультете и он со временем стал одним из наиболее уважаемых профессоров. Он поздно женился на племяннице одного из крупных партийных деятелей, мог сделать большую карьеру, но не захотел отказываться от вольного образа жизни. Валера первым ушёл из ребят нашего курса, которые были близки мне.

Игорю пришлось сложнее. Он долго не мог устроиться на работу, ему все сочувствовали, но мало кто реально помогал, а некоторые из сочувствовавших на словах даже пакостили за спиной. Причём это делали на первый взгляд очень приличные люди, но антисемитизм и честь — две вещи несовместимые. В конечном счёте ему удалось устроиться в Санитарно-гигиенический институт, где он проработал всю жизнь. К сожалению, его прекрасная диссертация об априорных формах познания никогда не получила монографического воплощения, что бесспорно, обеднило отечественную философию. Всю жизнь Шмерлинг остаётся добрым, заботливым человеком, готовым придти на помощь. Он женился на однокурснице Люде Сверчковой, получившей также красный диплом, и их дом уже почти 40 лет наиболее посещаемый однокурсниками.

Хорошие отношения у меня сложились ещё с двумя ленинградцами Витей Павловым и Мишей Борщевским. Оба были намного старше меня, оба имели за плечами разнообразный жизненный опыт. Витя Павлов был блокадник, детдомовец, имел семью и стремился к заработку денег, посещал занятия очень редко, проводя большую часть на острове Валаам. Все советское и марксистское он не принимал в принципе и в качестве диплома выбрал экзотического, эзотерического и малопопулярного тогда Э. Гуссерля. Диплом имел большой успех и его приняли в аспирантуру ленинградских секторов Института философии АН СССР, где менее строго смотрели на беспартийность. Но у него не нашлось времени для написания диссертации, позже он пытался заняться каким-либо бизнесом, но, кажется, не преуспел. Лет 20 назад пытался меня заинтересовать какой-то философской системой и исчез окончательно.

Если раньше были потеряны контакты с несколько пижонистым Мишей Борщевским, который также не тратил попусту времени на ненужные предметы, а сконцентрировался на

социологии и быстро защитился у О.И. Шкаратана, одного из зачинателей социологии города у нас в стране. Будучи в аспирантуре, я пару раз был у него на даче и в квартире на Трамвайном проспекте. В 1972 г. случайно попал на встречу Нового года на даче его тестя. Эта встреча запомнилась на всю жизнь, так как неожиданно оказалась не то, что малоалкогольной, а почти совсем безалкогольной, так как ответственный за доставку главного ингредиента любимого праздничного стола в России, разругался с женой и не приехал. Пришлось всю ночь кататься на санках и фанерках с какой-то высокой горы.

Мишина жена тогда только что поступила в аспирантуру психологического факультета и была тогда не слишком уверена в разговорах с нами, мишиными однокурсниками. Фамилию я её начисто забыл, хотя слышал, что она работает по соседству в Ленинградской части Института этнографии АН СССР учёным секретарём у Р.Ф. Итса. С удивлением я узнал потом от Игоря Шмерлинга, что словоохотливая и острая на язык Галина Старовойтова — бывшая жена Борщевского.

Сам Миша организовал сектор во вновь созданном Институте социологии и экономики АН СССР (ИСЭП), который сразу был поставлен под строгий контроль Обкома КПСС. А там за пятой графой следили строго. Не поблагодарив за проделанную работу, его выжили из ИСЭП, и он эмигрировал в Англию. Это давало дополнительные поводы недругам Старовойтовой позднее обвинять её в антипатриотизме. Сейчас очевидно, что антипатриотами были те, кто вынуждал талантливых и образованных людей эмигрировать. Развал союза — закономерный итог кадровой национальной политики партийного аппарата. А талантливого политика Старовойтову, пользовавшуюся огромной популярностью в Санкт-Петербурге, подло убили в подъезде. Несколько лет ушло на то, чтобы найти и осудить непосредственных исполнителей этого преступления, но лишь спустя 17 лет на скамье подсудимых оказался один из его заказчиков, действовавший якобы по поручению главы тамбовской группировки Кумарина, названного ночным губернатором Санкт-Петербурга.

На 1-м курсе студенты философского факультета жили в общежитии в Старом Петергофе, Вскоре мне стало жаль тратить ежедневно столько времени на дорогу и я переехал жить в коммунальной квартире на пр. Маклина у сестры отца — тёти Мирры. В общежитии бывал редко, только по большим праздникам и иногда на танцах, плохо знал однокурсников, так как моя койка была в комнате старшекурсников. Некоторое время с нами жил Василий Стрельченко, ставший впоследствии деканом факультета философии человека в ЛГПИ им. А.И. Герцена. Но осенью он ушёл в армию, откуда вернулся, когда я уже учился на четвёртом курсе. В комнате жили ещё два психолога со старших курсов, к сожалению, я забыл их фамилии, но Стрельченко говорил, что они оба стали профессорами. Все трое они спорили с утра до поздней ночи, периодически втягивая и меня в дискуссии, порядком надоевшие мне уже на факультете.

На 2-м курсе я получил место в общежитии на Мытнинской наб., дом 2, откуда до факультета было меньше 10 минут пешком. В нашей комнате было 7 человек, в остальных примерно столько же. Койки стояли впритык. На соседней койке спал Я.М. Галл, впоследствии мой соавтор по многим работам и коллега по работе ЛО ИИЕТ АН СССР. Ныне он известный в мире историк биологии, автор ряда хорошо известных монографий. В комнате жили также Юра Фурманов, Олег Подлишевский, Юра Роговой и Борис Кругляков. позднее к нам подседали ещё первокурсника, который пытался мне все время доказать, что начавшиеся гонения на интеллигенцию политически оправданы. Я с ним яростно спорил и насколько я помню, остальные были в основном на моей стороне.

Хотя городские и общежитские не очень контактировали между собой на первом курсе, после каникул мы были рады встрече. Окончательно коллектив сложился в совхозе под Рощино, куда нас послали на месяц на уборку картошки. Совместный труд и досуг на свежем воздухе, вечера на кухне, костры и печёная картошка на берегу реки, небольшие спиртные возлияния и танцы, песни под гитару Коли Ляпина — все это способствовало «спеванию и спаиванию»



коллектива. Нам надо было выполнять задания и сачковать было неприлично. Кроме того, неизбежные конфликты с местными и солдатами срочной службы, проявляющих интерес к нашим девочкам, показали сразу: кто есть кто и что от кого можно ожидать. Досрочно сорвавшиеся с деревни, мы попались в электричке за безбилетный проезд с оформлением протокола, который прислали в деканат.

Старшим в нашем отряде был назначен Володя Носов, он же стал его моральным лидером. Бесстрашный, спокойный, немногословный помор из Карелии, со спортивной фигурой и очень надёжным характером. Всегда доброжелательный к людям, он легко заводил друзей и приятелей. Был трудолюбив, прилежен в посещении лекций и семинаров, скромн. Женился на нашей однокурснице Ирине Эйдель, одновременно учившийся в вечернем театральном институте. Ирина, защитив диссертацию по истории социологии театра, сосредоточилась на культурологии и стала одним из самых популярных лекторов в нашем городе. О научной карьере Носов, по-видимому, и не мечтал, был удивлён, когда научный руководитель профессор Ю.С. Мелещенко предложил ему поступить в аспирантуру. Он в срок защитил диссертацию у В.Г. Марахова, был замдекана философского факультета, заместителем директора Института повышения квалификации ЛГУ, реорганизованного в Гуманитарный институт СПбГУ, несколько самых тяжёлых лет исполнял обязанности директора, несмотря на уговоры Л.А. Вербицкий отказался стать директором. Вместе с женой они уехали на постоянное место жительства в Мюнхен, где уже давно обитает его дочь с мужем и двумя сыновьями. У них была уютная двухкомнатная квартира в одном из самых прекрасных городов Европы. В Германии обычно говорят, что немцы делятся на две части: на тех, кто живёт в Мюнхене, и на тех, кто мечтает жить в Мюнхене. Но они тосковали без работы. Я не мог понять их ностальгию и желание вернуться назад. Но они вернулись, и вскоре Володя скончался. Это был один из самых светлых людей в моей жизни.

Именно Володе Носову вместе с другими нашими однокурсниками удалось добиться, казалось бы, невозможного и отменить «святая святых» в СССР — посещение военной кафедры студентами нашего курса. Дело в том, что при одиннадцатилетнем образовании и обязательном двухгодичном производственном стаже мальчикам практически было невозможно избежать воинской службы, и кафедра была не нужна. Подавляющее большинство наших студентов отбарабанили от звонка до звонка по три-четыре года. Остались только белобилетники или необученные военнообязанные, негодные к строевой службе. Отмена хрущевских нововведений в образовании сделала необходимым ввести вновь военную кафедру в вузах, чтобы не отправлять вновь испечённых инженеров, врачей, учителей и т. д. на три года срочной службы солдатами после окончания Вуза. Вводили их, естественно, с первого курса. Но в ЛГУ, желая трудоустроить отставников и напомнить бывшим солдатам о том, что Родина их не забыла, кафедру ввели со второго курса с летними лагерями после пятого курса, что ставило под угрозу поступление в аспирантуру, затрудняло устройство на работу. Фактически кафедра не нужна была никому, особенно уже отслужившим. Все помалкивали и только студенты нашего курса решили побороться, что казалось совершенно безумным в то время. Слава Лебедев, Володя Носов и Игорь Ягодников от имени демобилизованных студентов, а они составляли большинство курса, поехали в Москву и дошли до самых высоких чинов, включая первых заместителей министра обороны и министра образования. Последний уже послал приказ в ЛГУ исключить делегатов за отсутствие патриотизма. Представитель военного ведомства оказался человечней, и внял их доводам. Кстати деканат не спешил выполнять приказ своего министерства, но, видя твёрдую позицию курса и не желая скандала, решили ввести кафедру с первого курса. Но бедным нашим девочкам пришлось учиться на медсестёр.

Именно Носов со временем стал моим ближайшим другом, с которым мы прошли буквально «огонь и воду», вместе отдыхали, садили и копали картошку, шабашили в калымных бригадах в Коми АССР и на берегу Чёрного моря, рыбачили, собирали грибы. Мы гуляли на свадьбе друг друга, отмечали совместно дни рождения, часто встречались и перезванивались.

В совместных студенческих вечеринках Носов всегда был старше и разумнее нас, предотвратив меня от ряда необдуманных поступков.

После окончания университета он предложил несколько дней провести в его родной деревне на Яндом-озере. Туда надо было добираться на «Ракете» по Онежскому озеру до Большой губы за Кижы и далее три километра пешком по болоту по узкой, выложенной деревьями тропинке, а затем на лодке перебраться в заброшенную деревню. Большинство огромных домов уже развалилось, часть была сожжена дикими туристами, оставался лишь дом, в одной половине которого жил старик со старухой, а вторая половина принадлежала родственником Носова. Карельская природа напоминала мне Урал, а озеро буквально кишело рыбой. За полчаса мы ловили по ведру окушат, лещей, язей и ершей, что хватало на тройную уху. В дальнейшем мы с ним не раз были в Карелии, рыбачили на Онеге и Шот-озере, но первая послеуниверситетская рыбалка помнится лучше всего.

Если с Володей Носовым ассоциируется увенчавшаяся успехом борьба за отмену военной кафедры, то живший с ним вместе Володя Томилов, будучи председателем Студенческого совета факультета, инициировал и добился пересмотра учебных планов на факультете. Кстати сказать, что здесь мы, скорее, вред сотворили, поскольку исключили математику, физику, химию, биологию, и в итоге марксистская философия все дальше и дальше уходила от современной науки. Но сам успех инициативы, идущей со стороны студентов, явление уникальное в советской высшей школе 1960-х гг. Как и Ляпин, Володя Томилов был непреклонным противником социалистического строя, прелести которого он хорошо испытал в голодающей послевоенной деревне на Вологде. Он занялся историей классической немецкой и русской философий, чтобы показать неизбежное превращения коммунистического идеала в тоталитарную систему. И хотя он был один из лучших специалистов в области философии XIX века и автор ряда монографий, ему не дали защитить докторскую диссертацию, а накануне пенсии, как только начался закат демократического движения, выкинули из Томского университета, где он проработал всю жизнь, но он не сдался и продолжает писать и издавать малыми тиражами книги, разоблачающие тоталитарный режим.

Нельзя не упомянуть ещё об одной неординарной попытке Володи Томилова и другого нашего однокурсника Леша Челидзе — убедить комсомольцев философского факультета поддержать инициативу студентов физического факультета вынести на комсомольской конференции отрицательную оценку деятельности комитета комсомола ЛГУ, пользующегося правами райкома. Случай вполне немыслимый в тот период, бросающий тень и на партийную организацию, и на воспитательную работу в ЛГУ. Для спасения ситуации было объявлено, что конференция не была отчётно-перевыборной, а якобы носила характер подведения итогов. На следующую конференцию отбирали каждого делегата под контролем деканата и партбюро. Особо строгие инструкции были даны по философскому факультету, так как ректор сказал: «Не страшно, если физики занимаются политикой, им скоро это надоест. А вот политиканство философов должно пресекаться на корню». Вопреки давлению комсомольское собрание забаллотировало при избрании делегатов декана факультета В.П. Рожина. В конечном счёте ректорат и администрация и партбюро ЛГУ добились от делегатов признания работы прежнего Комитета ВЛКСМ удовлетворительной, хотя в новый состав Комитета никто из прежнего руководства не попал. Так было удовлетворено и требование недовольных студентов. При распределении Томилову припомнили это бунтарство. Ему не предложили аспирантуру, хотя он, бесспорно, был одним из лучших студентов факультета, а отправили с женой-красавицей Галкой Боярской, нашей однокурсницей с отделения психологии, и двухгодичной дочкой Мариной в Томск, куда желающих ехать не было.

Бывали и другие случаи, когда делались попытки наказать наших однокурсников явно по политическим мотивам, но мы вставали на защиту, и их оставляли в покое. Так, это было в рассказанном выше случае с Колей Ляпиным. Правда, это было не всегда. Уже на пятом курсе выяснилось, что один из студентов с отделения научного коммунизма, известный как орто-

доксальный марксист и активный коммунист, вырезал из газет буквы, склеивал из них целые обличительные письма и рассылал по инстанциям. Таким образом, он считал себя борцом с режимом, предавшем чистые идеалы коммунизма и погрязшего в казнокрадстве и коррупции. Нам такой способ борьбы показался неэффективным, и мы не стали возмущаться, когда его завалили буквально в последней четверти. Ему не дали восстановиться, он устроился на Ленмясокомбинат, стал начальником цеха и через несколько лет жил намного лучше каждого из нас. Но тоска жила в нем, на преподавательскую жизнедеятельность философа он смотрел как на несбывшийся рай. Никто не стал разуверять его в этом.

Однажды студенты заступились и за меня. С 3-го курса мы жили в первом корпусе будущего общегородского студенческого городка на Новоизмайловском проспекте, где жили студенты ЛГУ и каких-то других вузов. Нам, привыкшим к вольностям университетских общежитий, претили попытки коменданта установить жёсткий контроль на входе и строгий распорядок вечерами. Как члену студсовета мне приходилось спорить с комендантом и по поводу проживания семейных пар с детьми в общежитии, которым, конечно, по положению нельзя было там жить, но другого места у них не было, и студенты сами старались как-то выделить им отдельные комнаты, идя на разные ухищрения.

Увидев меня как-то сильно выпившим, комендант стала мне выговаривать, а я в сердцах пригрозил добиваться освобождения её с должности. Скорее всего, обошлось бы без последствий, но на грех приехал в тот день секретарь партбюро факультета Д., который, услышав моё отчество, приказал меня немедленно выселить. Однако студсовет и комсомольская организация не согласилась с этим, доказывая неправомерность выселения студента из общежития; ректорат тогда поставил вопрос об отчислении с университета. Здесь запротестовал деканат, видя, что наказание не соответствует проступку, ведь тогда бы пришлось выселять пол-общежития. К тому же я был одним из главных претендентов на именную стипендию и деканату не хотелось терять успевающего студента, за которого ходатайствовали некоторые преподаватели, курс и бюро комсомола факультета. В подвешенном состоянии я находился несколько недель. Комендант отобрала у меня постельные принадлежности, но выселить не могла, так как приказ о выселении несколько раз издавался и сразу же отменялся как незаконный. В конце концов, мне это надоело и я съехал на несколько месяцев жить к Илмару Башко, хотя продолжал быть прописан в общежитии.

В дальнейшем комендант предпочитала меня не задевать, и мы жили с ней мирно.

Закрывала она глаза и на то, что я жил в отдельной комнате со своей первой женой Ютой В., специализирующейся по социальной психологии. Она была из Эстонии, куда и уехала по окончанию университета. Вскоре мы расстались, но изредка переговариваемся по скайпу.

Конечно, частые компании, танцевальные вечера и песни под гитару были непременным атрибутом студенческой жизни. И здесь мы были очень раскрепощены, прочные позиции завоёвывали авторские песни, которых по радио услышать было нельзя. Шла радикализация пристрастий. Песни Булата Окуджавы и А. Галича слышались все реже. Их сменили полублатные-полулирические песни В. Высоцкого. Последние приобретали все большую и большую популярность по мере крепнущего мастерства поэта-барда и усиления политической остроты их содержания. Постепенно Высоцкий становился главным нашим кумиром, которому подражали многие.

Была ещё одна особенность нашей «студенческой гульбы». Когда мы собирались в своей компании за столом с водочкой, мы продолжали спорить о проблемах эволюционной теории. Моя сестра, которая училась в другом вузе, до сих пор вспоминает, что это было очень удивительно для нее, что мы всегда в основном говорили только о науке.

Нет возможности рассказать о многих других студентах факультета, каждый из которых был достаточно своеобразной личностью. Например, замечательный латышский поэт Ян Рокпелнис, с утра до вечера трудился над шлифовкой своих стихов и переводов. Женя Рубан по-

явился у нас на втором курсе и сразу стал заметен, так как той же осенью завоевал звание чемпиона Ленинграда по шахматам. Он был, вероятно, очень талантливый шахматист, так как ими почти не занимался. Большую часть времени он посвящал чтению фрейдистской литературы, а также антисоветских сочинений. С ними он охотно знакомил и некоторых из нас, но ни у кого никаких неприятностей на этой почве не возникало. Посадили его уже после окончания университета, часть срока он отбывал в Томске, заходил там в гости к Томиловым.

Легендой курса был кандидат в мастера по вольной борьбе Миша Бениашвили, единственный на курсекоторого мы звали преимущественно по кличке «Бен». От природы он был умён, предприимчив, находчив и циничный. До университета Бен работал директором комсомольского магазина и поражал моё воображение, сколько оказывается, можно было зарабатывать за день уже в то время. На мой наивный вопрос: «А попадают ли в торговле в Грузии честные люди», — получил неожиданный ответ: «Попadaются, но они быстро садятся». Спортсменам при поступлении была зелёная улица. Хотя Бен не прошёл собеседование, экзамен, скорее всего, за него сдал кто-то другой, и при содействии спортивной кафедры он был зачислен на вечерний факультет с правом посещать лекции на дневном отделении. Перевестись затем к нам было уже дело техники, а уж её Миша знал, как никто на свете. Мне позднее казалось, что сыгранный намного позднее Калягиным в «Прохиндиаде» герой списан с Миши, хотя последний был высоким, стройным и очень красивым юношей.

Бен на полном серьёзе был уверен, что если бы он хоть немного учился, то был бы ленинским стипендиатом. Но учиться ему было некогда, он все время кого-то устраивал в институты Ленинграда, кого-то нанимал за деньги сдавать за себя или за них экзамены, оказывал услуги некоторым административным работникам, а, возможно, и преподавателям, занимался фарцовкой и т. д. По его словам, Бен за всю жизнь прочитал только две книги и то не до конца. Тем не менее, начиная со второго курса он почти все экзамены сдавал без проблем, правда, в индивидуальном порядке. Он был уверен, что всех и вся можно купить выпивкой, девочками, шмотками, контактами и т. д. Но, конечно, главным была доброта преподавателей нашего факультета, где по большинству предметов «тройка» была самой низкой оценкой, а «пятерки» и «четвёрки» почти все ставили направо и налево. Были и серьёзные осечки, например, с В.А. Штоффом, его он не прошёл, но, в конечном счёте, как-то обошёлся без него. Но произошло это на очень высоком уровне. Его некоторые ответы вошли в студенческий фольклор. Например, на вопрос проф. Н.А. Тих, какая форма чувственного познания у него при взгляде на доску, Бен ответил: «Раздражение». Рефлекторное отдергивание собакой ноги после удара током он называл ориентировочным рефлексом «что такое», Аристотеля именовал Аристотели и т. д. Он специализировался по научному атеизму и обещал Шахновичу написать диплом об особенностях иудаизма в Грузии. На вопрос, умеет ли он читать на древнееврейском языке, Бен ответил гордо: «Умею, но ничего не понимаю». Мне иногда казалось, что то же самое он мог сказать на вопрос о чтении русской литературы. Не сразу, но Бен все же получил диплом, и мы полагали, что в дальнейшем ему уготована счастливая жизнь подпольного бизнесмена, которые уже начали появляться. Но мы ошиблись. Несмотря на удачное начало, открытие какой-то очень престижной спортивной школы Бен проиграл, бизнес отжали в пользу кого-то, а сам он одним из первых ещё в середине 1970-х гг. эмигрировал, по слухам, в Голландию, где якобы тренировал какой-то местный футбольный клуб.

Ещё больше мы ошиблись с другим студентом нашего курса, который, напротив, был очень усерден, посещал все лекции, переписывал от начала до конца все первоисточники, учил определения понятий, немецкие слова с утра поздней ночи, но без всякого результата. Он мог, прочитав по-немецки *Präsident Eisenhower*, сказать, что не понимает, ведь *Eis* — лёд, что такое *hower* он не смог найти в словаре. Немецкий как раз и стал препятствием в его карьере, преподавателей немецкого языка можно было пройти, зная основы грамматики и сдав сотни тысяч знаков. И ни на какие компромиссы они шли, их нельзя было разжалобить. Насколько я помню, с нашего курса отчисляли только из-за иностранных языков. Но ему уда-

лось перейти на заочное отделение, там требования были помягче. Нечеловеческая усердность и собачья преданность, с которой он смотрел на однокурсников и особенно на преподавателей, подкупала и вызывала жалость. Над ним смеялись, потешались, рассказывали анекдоты, десятки раз прогоняли с экзаменов и зачётов, в конце концов, самые твёрдые и принципиальные преподаватели сдавались и ставили тройки.

Был он намного старше всех нас, совершенно лысый с редкими зубами, и производил на меня впечатление человека с начальным образованием и без коры головного мозга.

Но оказалось, что он прекрасно умел адаптироваться в обычной жизни и знал её главные пусковые механизмы лучше каждого из нас. Это я понял, встретив его в публичной библиотеке и с удивлением узнав, что он пишет кандидатскую диссертацию про русских революционных демократов. Мы несколько часов проработали вместе, и я с удивлением заметил, что сбор материала у него, как и раньше, заключался в механическом переписывании каких-то совершенно бесцветных статей 1950-х гг. Но он защитился и, встретив меня через несколько лет, просил помочь напечатать книжку, обещая за это ящик коньяка и мешок омуля и кеты. Это было в конце 1970-х гг., все планы утверждались в РИСО, и мне было странно представить, что можно протолкнуть монографию каким-то обходным манером. Ответ на вопрос однокурсников, как он читает лекции, подкупал простотой: «Я взял два учебника. Один раздел по одному учебнику читаю, другой по второму, а студентам рекомендую третий учебник».

Но книгу он вскоре опубликовал, а затем и вторую, и специалисты говорят, что вполне профессиональные и неплохие, защитил докторскую, стал профессором, заведующим кафедрой. Я же, периодически встречая его, замечал, что он ничуть не изменился: по-прежнему не мог связать двух слов, ни одно научное суждение в его голове не появлялось, а чужие также не задерживались. Теперь он уже расспрашивал, как поехать за рубеж, попасть в архивы США и Канады. Особенно поражал ответ «Научусь» на вопросы о необходимости для этого знать хотя бы основы английского языка. Это при известной всему курсу уникальной неспособности запоминать элементарные иностранные слова.

Я уже не удивлялся, увидев его по телевизору, совсем неизменившимся, в марте 2000 г. среди доверенных лиц кандидата в президенты В.В. Путина. Через пять лет он пришёл на мою лекцию по антропогенезу на курсах повышения квалификации на философском факультете. И снова я сразу узнал его. Он просидел два часа и было видно, что не понял ни слова. Даже имитация интеллектуальной деятельности в течение десятилетий никак не отражалась на его лице.

Вскоре он умер, но судьба как бы ещё дважды сводила нас. Однажды некий член-корреспондент РАН напечатал в периферийном ваковском журнале статью о том, что надо всю современную биологию и охрану окружающей среды перестроить по заветам отцов церкви: всех гадов и насекомых уничтожить как дьявольские создания, и тогда лев и буйвол, волк и овца будут мирно пастись вместе. Поднялся шум, ректор сказал, что статья помещена именно по рекомендации умершего моего однокурсника, который настаивал на её публикации как исключительно оригинальной. Немного позднее я узнал, что в годовщину его смерти коллеги устроили памятные чтения в честь безвременно ушедшего крупного философа. Среди докладчиков я встретил фамилию одного вполне грамотного философа, прекрасно знавшего интеллектуальный уровень усопшего. Хоть это и не принято, я при встрече спросил коллегу, как с этической точки зрения следует оценить его участие в столь постыдном мероприятии. Его ответ не показался мне вразумительным: мол, трудно отказать заблуждавшимся коллегам в столь святом деле, как почтить память умершего. У меня нет оснований сомневаться в искренности коллеги, но мне кажется, что в данном случае нарушены все нормы профессиональной этики. Мало того, что абсолютно бездарный человек, неспособный связать в складное предложение два понятия, стал профессором, так ещё посмертно его возводят в ранг великих философов, показывая остальным бездарям путь в бессмертные. Кстати, как мне жало-

вались его некоторые подчинённые, усопший устроил жёсткий авторитарный режим на возглавляемой им кафедре, выгоняя любого, кто не соглашался петь ему осанну. Вообще, ещё раз подтвердилась идея Владимира Высоцкого в песне о козле отпущения. Перенёсший унижения в начале карьеры неизбежно затем постарается отыгаться. Странно, что люди из моего поколения повторяют одни и те же ошибки, из-за которых вся история России идёт зигзагами, сопровождаемыми громадными жертвами.

Для меня же остаётся загадочными мотивы стремления этого человека к научным титулам и званиям. При его уникальном обыденном сознании и адаптационных способностях к реалиям жизни он, наверняка, мог добиться большого в любом другом качестве. И ещё я не могу понять, можно ли быть профессором математики, не зная, что дважды два четыре. А вот в философии, не зная таких же основ, можно. Это блестяще доказал мой однокурсник и его случай уникален в истории человеческой мысли. Воистину Россия страна чудес в области интеллекта.

### «На севере диком»

Когда писались эти строчки, ни Г. Гейне, ни М.Ю. Лермонтов, видимо, представить себе не могли, что на Крайнем севере одинокая сосна стоять не могла, так как они вообще там не растут. В тундре встречается только берёза, да и та кустарничковая, карликовая *Betula nana*.

В пору моего детства полярная лихорадка утихла, Северный морской путь был освоен. Экспедиция Нобиля и челюскинцы были спасены, полярная станция № 1 отсидела положенный срок и вернулась обратно, но отзвуки тех героических дел ещё жили в кино, воспоминаниях, популярных и детских книгах. Во втором классе весной мне попала в руки книга капитана ледокольного судна «Седов» В.И. Воронина, которая захватила меня так, что стала первой книгой, читанной мной во время уроков. Наказания Лидии Ивановны не могли оторвать меня от приключений зимовщиков, дрейфовавших несколько лет в Арктических широтах. Нас продолжали волновать сообщения о полярных станциях начала 1950-гг. и первые антарктические экспедиции. Но со временем они стали обыденными, мы повзрослели, героический флер Арктики развеялся.

Он вспыхнул снова в миг, когда мои однокурсники Володя Носов и Миша Сундушников в начале октября 1966 г. ввалились в общежитие на Ново-Измайловском проспекте, обветренные морским воздухом Арктики с рюкзаками, полными копчённой рыбой муксун и омуль. Казалось, ожили мечты прошлого и передо мной были реальные покорители Крайнего Севера, да, к тому же твои приятели.

Такие знаменательные события принято было отмечать. Быстро организовали стол, принесли водки, пива и начался пир с экзотической рыбой, которую нельзя было найти в Ленинграде. В разгар вечера, часов 12 ночи пришла замечательная идея посмотреть, как горят привезённые с севера фальшфейеры, представлявшие собой нечто подобное гигантским бенгальским огням. Вышли в коридор и зажгли их на лестничной площадке, зрелище было действительно замечательное. Расстроенный тем, что большинство обитателей общежития спят и не могут им насладиться, я решил затушить огонь о пол, но линолеум начал быстро плавиться, и, тогда, высоко подняв фальшфейер над головой, подобно Данко с горящим сердцем, как вспоминали со смехом мои друзья, я помчался тушить замечательный огонь в унитазе. Фальшфейер, предназначенный для подачи сигналов в сильный дождь, погас с трудом. Насладившись отблесками арктической романтики, мы уселись играть в преферанс, но рассказы об Арктике, где есть такие замечательные вещи как фальшфейер и невиданный мной копчённый омуль, крепко западали в сердце. К тому же студент со старшего курса Валера Михайловский привез с Севера аж шкуру белого медведя. Не малую роль играли денежные соображения, за три месяца можно было заработать чистыми более 500 рублей, что было бы ровно моей годовой повышенной стипендии. А там мы находились бы на всем готовом.

Благодаря Володе Носову мне удалось договориться с Географическим предприятием, располагавшемся на Московском проспекте, что они возьмут меня летом для дежурства на водомерном посту для наблюдения за уровнем моря во время съёмок дна моря Лаптевых. Перед самым отлётом выяснилось, что не хватает людей на водопост и мне удалось уговорить Борю Фетисенко присоединиться. Экспедиция должна была продлиться чуть более трех месяцев, базовый порт Тикси, где зимовали пять гидрографических судов экспедиции, бороздившие летом разные участки моря Лаптевых и ведущие съёмки дна при помощи гидроакустических приборов, за которыми дежурили курсанты Макаровского арктического училища. В экспедицию входили также геодезисты, гидрологи и гидрографы Географического предприятия. Основная часть команды судов обитала зимой в Ленинграде, в Тикси на зимовку оставалось несколько человек: капитан, боцман, механик, один или два матроса. Остальными матросами были курсанты-практиканты из Макаровского училища. Во время сильной качки они страдали от морской болезни и старожилы говорили: «Раньше суда были деревянные, зато матросы железные, а теперь суда железные, а матросы даже не деревянные, а г...».

Полет на Ил-18 продолжался около 10 часов с посадкой в Садыр-Яре и Хатанга, рано утром оказались в аэропорту, находившемся в нескольких километрах от Тикси, куда повезли нас в грузовых машинах. Кругом растиралась бесконечная тундра, которую я видел впервые. Потряс плакат на арке при въезде в Тикси «Добро пожаловать» и сразу справа начиналось кладбище. Суда, впаянные в лёд, стояли в нескольких сотнях метров от берега и до них сперва ходили по льду, который стал быстро таять, образовались огромные лужи, затем трещины, и добираться приходилось, перепрыгивая через них или проходя по вибрирующим доскам. Эти временные мостки постоянно перестраивались, льдины сходились, расходились, и надо было быть бдительными. Вскоре на берег стали ходить на моторках, иногда в небольшой шторм и было волнительно находиться в лодке в фуфайке, а порою и в стёганных штанах, когда со всех сторон летят брызги ледяной воды. С каждым днём становилось все теплее и матросы шутили: как на юге, постелешь на палубу шубу, расстегнёшь фуфаечку и можно загорать. Однажды температура поднялась даже до 16 градусов, обычно было 8–10.

Сам Тикси был небольшой посёлок, раскинувшийся вдоль берега и прижатый к бухте грядой сопок. Это был порт, функционирующий чуть более двух месяцев в году. Через него шёл завоз грузов во все полярные станции от Тикси до Анадыря, чтобы успеть до конца навигации, погрузка и выгрузка шла круглосуточно. Грузчики приезжали на сезон, в основном из Одессы, зарабатывая по 1000 рублей в месяц. Деньги сумасшедшие в то время. Ходили они всегда бригадами, готовыми дать отпор любому, кто покусится на них, а тем паче на их деньги. Постоянных жителей было не больше пяти тысяч, как правило, они так уставали от пьянки за зиму, что к работе были малопригодны. Основную летнюю работу выполняли приезжие, вкалывали круглый год только на полярках, в том числе и на расположенной вблизи Тикси. В общем обитателям полярных станций, призванных вести постоянные метеонаблюдения и быть радиомаяками, приходилось тяжелее всего. Для них никто ничего не делал, надо было позаботиться, чтобы в срок завезли провиант, бензин, керосин, успеть запастись дровами, напилить и нарубить их, наловить и накопить на зиму рыбы, запастись мясом.

Условия жизни были тяжёлые. Сильные морозы, иногда целыми днями пурга, такая сильная, что порой люди, выйдя из дома в центре посёлка, чтобы навестить соседа, уходили в тайгу и их останки находили только весной. Кроме какого-то количества молодых специалистов, приехавших по распределению, здесь обитали или бывшие зэки, которым некуда было ехать на материк, или люди, обленившиеся уже так, что к обычной активной жизни в течение всего года были неспособны. Народ был суров, а по пьянке обидчив, горяч и вспыльчив. Поймать перо в бок, а то и в сердце ничего не стоило. Обиды держались долго. К работе обитатели Тикси были не приучены, развращены большими деньгами. На берегу сразу шёл коэффициент 1,8 на полярке 2,0, каждые полгода добавлялись по 10%. Через пять лет получался коэффициент 3,0, часто на всем готовом. Отпуск брали раз в три года, уезжали на материк или

Большую землю, так называлась остальная часть СССР, чтобы с шиком и размахом растратить заработанное. Но были и такие, кто безвылазно сидел по 10–15 лет, возможно, были особые причины отсиживаться, но об этом лучше было не спрашивать. Особенно жалко было детей, находившихся почти 9 месяцев в году без солнца. Они выглядели скорее как бледные спирохеты.

В магазине было много товаров, которые на материке были тогда в дефиците, например, магнитофонные бабины или цветные фотоплёнки. Мясо было в основном оленина, стоившее около 80 копеек килограмм, остальные продукты были с северной надбавкой. Главным продуктом был спирт, по моему, 5 р. 62 коп. за пол-литра 96-градусного. Белоголовая московская считалась деликатесом, но больше нравился спирт. Летом был жёсткий сухой закон, иначе было бы нельзя — пропили бы все и остались бы ни с чем в зимовку. Страна слала сюда все в огромном количестве. Потом все терялось, рвалось, ломалось, разбрасывалось. Редко какая малая поломка ремонтировалась. Это делать было некому и проще было заменить. Как сейчас помню около гаража тракторов, основного вида транспорта, на Севере сотни, если не тысячи брошенных машин. Как объяснили местные, больше одного года, т. е. 2–3 месяцев трактор не работал, его бросали, так как везти обратно было очень дорого.

Когда мы приехали, нас с Борей Фетисенко первоначально определили на «Иней». Курсанты и команда занимались расконсервацией судна, вели уборку, красили борта, леера. Нас, рабочих экспедиции, гоняли на разные береговые работы, очень хаотичные и плохо продуманные. Я, с детства прирученный плоское катать, а круглое тащить, трудился безропотно, а Борю бесило, он начинал всех учить. На него стали коситься, а он не обращал внимание: прежде чем начать что-то делать, раздумывал, как бы рационализировать труд, что раздражало и меня. А Боря посмеивался и говорил: «Лень — двигатель прогресса». Постепенно мы все больше сближались, он очень любил рассуждать и я был не прочь послушать, тем более, что у него также был уникальный опыт, включая участие в подавлении восстания в Новочеркасске.

Навигация открывалась 1 августа, но вдруг стало известно, что в какой-то совхоз в устье р. Лены завезли водку, и начальство приняло решение отправить наше судно. Я к тому времени перешёл на «Фарватер», а Борю отправили на «Айсберг». Со всех членов экспедиции и команд пяти судов собрали деньги и мы отправились в путь. Отошли на несколько десятков узлов, бросили якорь, спустили два больших катера, один пошёл за водкой, а нас отправили на берег ловить рыбу — кондевку (ряпушку), что-то вроде сельди, которой там было немерено. Технология была проста: на лодке заходили в море метров на пятьдесят, потом один конец закругляли и гребли к берегу, передавая нам, стоящим в болотных сапогах, в ледяной воде. Мы с трудом вытягивали на берег сеть, в которой трепыхалось сотни, тысячи небольших рыбёшек, которых надо было выковыривать из сети. После чего сеть расправляли и все повторялось снова. Не помню, сколько было заходов, но рыбы наловили много. Её большую часть, оставшуюся на нашем судне, чистить и солить пришлось почему-то в основном мне. В итоге получились две десятиведерные бочки. Часть рыбы была съедена в экспедиции, а часть, говорили, ушла в Ленинград, начальству.

На следующий вечер вернулись наши оптовики и судно на всех парах помчалось к Тикси. Что творилось после раздачи заказов, описать трудно. Почти два дня все были вдрабадан пьяны, особенно экипаж, на вахту приходилось выходить даже нам. Помню, в носовом кубрике, нижняя часть которого находится за ватерлинией, сидим на койке, поджав ноги, рассуждаем с Борей об эволюции, а внизу мои соседи-курсанты мутузят друг друга, я хочу вмешаться и разнять. Боря советует не мешать им, и только ногой брезгливо отталкивает тех, кто наваливается на нас. Вдруг слышим дикий крик, выходим на палубу, а корабль стоял около льдины, и видим, что один член экспедиции собирается утопиться в Северном Ледовитом океане, а другой уговаривает его этого не делать. Но первый настаивает, но почему-то не хочет топиться в одежде, аккуратно её снимает и уже не очень решительно ныряет в ледяную в



воду, тут же возвращается к льдине, но не вылезает из воды. Второй интересуется температурой воды и предлагает поплавать подольше. Видимо, из чувства противоречия первый уже не хочет ни топиться, ни плавать, и возвращается на льдину.

Но не всегда так удачно кончалось. Когда запас «горючего» уже почти был исчерпан и работа возобновилась, один из матросов, приехавших из Ленинграда на заработки, красил борта, стоя на доске, прикрепленной к леерам верёвкой, потерял равновесие и свалился в воду, пойдя почти сразу на дно. По случайности шла моторная шлюпка с соседнего судна, моторист как был в фуфайке нырнул за парнем и поймал, на палубе его почти откачали. Здесь прибежала медсестра, студентка нашего психологического факультета, сунула зачем-то под нос утопленнику нашатырный спирт, он только дёрнулся и отдал богу душу. Могилу послали долбить двух курсантов из моего кубрика, и хоть часть грунта взрывали, работали они целый день.

Только где-то в 20-х числах июля мы вышли в море и часто попадали в зону сплошных льдов, с трудом пробиваясь к месту съёмки. Иногда сутками дрейфовали вместе со льдами, ожидая, когда вынесет на чистую воду. Однажды мы увидели во льдах атомный ледокол «Ленин», который шёл довольно быстро, легко раздвигая толстый лёд. Почему-то им не отвечали на запрос о местоположении, и наше начальство решило помочь, а затем подумали: мы им будем давать ориентиры и будем идти за ними, а может они дадут нам и свежей картошки. Надо сказать, что овощи на севере почти все были сухие и обычную картошку можно было достать только в конце августа — начале сентября. К несчастью, начальство просчитались. Наш корабль не поспевал за ледоколом, раздробленные им льдины были велики и судно с трудом раздвигало их. Мы дали сигнал: «Остановитесь, мы не поспеваем». Они ответили, «Нам некогда и вас никто не заставлял идти в „фарватере“ (название нашего судна), это была их шутка. Помню, как мы смотрели вслед быстро удаляющейся громадине, а вокруг нас смыкалось бесконечное ледяное поле. На этот раз мы пробыли во льдах больше недели, кончился запас пресной воды, удалось пристать к какой-то льдине, на которой была талая вода. Часто в полыньях появлялись нерпы, кто-то бегал по льду, стремясь подстрелить их из винтовки, хотя это было бесполезно, так как нерпы были очень осторожные и чуткие, хотя и любопытные.

Когда вышли из ледового плена, зашли на мыс Буор-Хоя, где сидела наша радиометрическая станция без бензина и керосина. Пришлось нам на тросах на шлюпке из катера переправлять их на берег, а затем 250-литровые бочки затащить на высокий холм более 30 метров высоты. Это была одна из самых тяжёлых работ в моей жизни. С тех пор я знаю, что размеренный и полуленивый труд северян компенсируется изнурительной, авральской работой. Думаю, рабочие ни одной из других стран ни за какие деньги не стали бы трудиться так, как работали русские.

День Военно-морского флота я первый и последний раз встречал в море. К нему готовилась вся команда, по заведённому тогда обычаю молодёжь подготовила настенную газету, фотографируя некоторых членов экипажа. Охотно позировал кок, обладавший редким умением любой продукт испортить так, что есть его было невозможно. Я, будучи полифагом с детства, молчал, а ребята ворчали и снабдили фотографию подписью: «Намешаю пену и шабаш, все потом проглотит экипаж». Профессиональная гордость повара была уязвлена, он забастовал, перестал кормить всех. К тому времени обычай вешать бунтарей в море на мачте прошёл, в советское время вешали критиканов. Бедных ребят заставили униженно просить прощение у человека, безжалостно травящего их в течение трех месяцев. Но они осознали свою вину, и баланда нам было обеспечена. Была и польза в плохом коке. Добавки никто не просил, все были стройные и помощь нашей медсестры не нужна была, так что все выжили. И с прекрасной дамой мы в белые ночи часто беседовали о соотношении сознательного и бессознательного у советских покорителей севера. Бессознательного было больше, в этом я убеждался все больше и больше.

К месту запланированной съёмки судно не могло пробиться, и нас решили временно высадить на необитаемый остров Макар в Янском заливе, сменить бывшую там команду с «Инея», среди них был бывший секретарь факультетской комсомольской организации Валера Михайловский, учившийся на год старше и специализировавшийся в области физики. Их должны были забрать через несколько дней. До этого мы настороженно относились друг к другу, но несколько дней, проведённых близко, сломили лёд недоверия, а затем мы с взаимной симпатией относились друг к другу, сотрудничали в 1980–1990-х гг. Он был искренне увлечён физикой и писал неплохие статьи. К сожалению, его также уже нет.

Нам сказали, что высаживают на неделю, но провизии на всякий случай посоветовали взять на десять дней, забрали же через двадцать дней. Просили быть бдительными относительно белых медведей, которые могли прибыть с льдиной. Хотя тогда их охрана ещё была не столь строгой и можно было убить медведя, объяснив, что на предупредительные выстрелы он не реагировал и нагло лез в палатку. Мы понимали, что убить таким охотникам, как мы, опасного, сильного и смелого зверя практически невозможно. Нам рекомендовали из палатки лучше не высовываться, если медведь пожалует, а если в неё полезет, пулнуть из ракетницы так, чтобы шерсть загорелась. Но ракетница была одна, а загорится ли шерсть с первого выстрела — я не был уверен. Фальшфейером же пугать медведя не советовали. Ходила шутка: лучше всего его убить, поставив перед атакующим зверем лист фанеры, а когда он вцепится в него, быстро заклепать или остричь когти. На самом деле, местный охотник-якут, приезжающий на остров зимой, строил ловушки для медведя из двух рядов вкопанных в землю брёвен. Там, где был вход, между брёвнами была расположена решётка, также сделанная из брёвен. Когда медведь, привлечённый нерпой, забирался в клеть, решётка падала, охотник почти в упор убивал зверя.

Как опасен белый медведь, я знал. В Тикси встретил мужика без скальпа. Несколько лет назад, когда он стоял у нивелира, а его товарищи долбили лунки и измеряли глубину в прибрежной части залива, подкравшийся при всех медведь полуобнял его и, играючи, начал возить лапой по волосам. Убить медведя удалось только топором, перерубив хребет, так как пуля непременно попали бы в несчастного. На моих глазах белый медведь несколько десятков метров гнался за только что высаженными нами топографами, которые, к счастью, заметили его заранее, а наша шлюпка не отошла далеко от берега, и мы выстрелами отогнали его. Уходил он очень неохотно. На острове Макар следов белого медведя было много, ими был истоптан весь берег. И вечером или ночью, выходя измерять уровень моря, я не раз приставшие к берегу небольшие льдины принимал за притаившегося медведя. Карабин, висевший за спиной, не добавлял много мужества. Со временем появилась привычка, и через неделю я бродил по острову уже с мелкокалиберной пятизарядной винтовкой, чётко осознавая, что медведю она так же опасна как слону дробина, но тяжёлый карабин таскать не хотелось.

Высаживались мы в слабый шторм, но пока в несколько заходов из катера на лодке перетаскивали вещи, промокли насквозь. Быстро разбили каркасную арктическую палатку Шапошникова (КАПШ-1), где могли разместиться несколько раскладушек и буржуйка. Проблем с топливом не было. Дровами, досками, брёвнами был усыпан весь берег, но они все были мокрые и топить ими было тяжело, надо было брызгать керосином, что легко могло кончиться пожаром. К тому же, когда буржуйка горела, в палатке было жарко, и мы вылезали из спальных мешков, обшитых изнутри собачьими шкурками. Но буквально через несколько минут после того, как прогорало, становилось холодно. Удачей было найти гнилушку, чтобы она тлела в течение нескольких часов. Но они часто и гасли.

На посту нас было три человека: Саша Никитин, Олег Клейменов и я, самый младший. Поскольку Саша Никитин, лет 35, был явно бывалый, дитя блокады, я вначале поверил ему, что он опытный полярник, дважды даже якобы зимовавший на полярке, что воспринималось как «доктор полярных наук». Олегу Клейменову, назначенному старшим водопоста, было за 30, он учился в университете на географическом факультете на год старше, и при встрече сра-

зу всем говорил, что был на Памире и Тянь-Шане на практике. Это звучало у него вместо визитной карточки. Я, осознавая, что изыскательский опыт на Урале, в Зауралье и Северном Казахстане бледнеет перед их подвигами, помалкивал и с начала редко вылезал со своими советами. Я не желал быть лидером, не жаждал ответственности, тем более в неизвестном деле.

Наша главная задача заключалась в том, чтобы каждые два часа снимать показания с нескольких водомерных реек, уходящих вглубь моря примерно на метров 40. Их через каждые пять метров мы должны были забить в дно моря во время отлива и установить их уровень относительно временного репера, вкопанного нами на глубину два метра. В зоне вечной мерзлоты для этого был единственный способ: конец трубы нагревался на костре, засовывался в яму и надо было как можно быстрее и как можно дальше отскочить, так как из трубы вверх на несколько метров выбрасывался фонтан грязи и чёрной воды. В итоге низ трубы на глубине полутора метра вмерзал, а верхнюю её часть утрамбовывали камнями и гайкой и репер стоял как забетонированный. Замер уровня коррелировался с данными акустического измерения на судне дна Лаптевых, где отметки брали через каждые 20 м. Море Лаптевых мелководно и малейшая возвышенность могла стать непроходимым местом для судов, поэтому нужно было узнать, каков был уровень воды в момент каждого измерения. А данные о колебании уровня могли дать только мы.

Ни полярник Никитин, ни географ Клейменный не умели обращаться с нивелиром. Поэтому нивелирный ход от временно установленного нами репера до забитых в море водомерных реек пришлось тянуть также мне, а потом проверять каждый раз, когда течением пригоняло ледовое поле и многие из них, а то и все были сдвинуты, поломаны, унесены. Вскоре стало выясняться, что и в других вопросах они не столь компетентны, амбиции явно не соответствовали амуниции: апломба было много, а здравого смысла не хватало, знания вообще отсутствовали. Оба делали странные ляпы: на все мои уговоры вытащить сеть при приближающейся буре они со смехом ответили, что никакая буря не утащит сеть, где грузилами служат две пудовые кувалды. Увы, они ошиблись, мы остались и без кувалд, и потеряли сеть. Вторую сеть утащили у нас льды, они также не захотели послушать меня и снять её, когда к берегу подходило ледяное поле. К счастью, однажды мне удалось все-таки уговорить их поднять наверх, где была наша палатка, лодку-ледянку, очень лёгкую и одну бочку бензина. И то после того, как полбочки, находившейся ближе к воде, уже смыло в море. Однажды, Саша принёс убитую гагу и долго варил её, не слушая нас с Олегом, что это пустая затея, и уверяя, что лично он поужинает с удовольствием. И хотя мы все были голодны, но есть это зловонное создание, пропахшее тухлой рыбой, никто не стал, включая самого «удачливого» охотника.

Как-то вечером уже в начале сентября мы с Сашей Никитиным шли вдоль берега. Темнело, и на Севере сверкали и переливались в слоях атмосферы последние лучи заходящего солнца, создававшие картину, резко отличную от привычных для наших широт закатов. Саша пытался меня уверить, что это северное сияние, которое он много раз наблюдал зимой на полярках. Я засомневался, так как вспомнил арктические пейзажи Рокуэлла Кента. Кроме того, во время плаванья во льдах, я часами ходил по палубе, сидел на корме или баке, лазил по трапам и стоял на мостике, любуясь быстрой сменой небесной расцветки во время вечернего заката, мгновенно переходившего в рассвет. И, наконец, как я помнил из школьных учебников, во время северного сияния краски должны колебаться, давать волны и т. д. Мне пришла на память история взрыва на «Маяке» и зарево, объявленное тогда северным сиянием. Чуть позже, как раз в день моего рождения, я вышел из палатки покурить и полюбоваться небом, усыпанным звёздами. Словно в подарок заиграло сияние, правда, белыми сполохами, накатывающими друг на друга. У меня не было сомнения, вот оно настоящее северное сияние. Пришлось кликнуть Сашу, и он вынужден был согласиться со мной, добавив, что сияние бывает разное. В этом, он, конечно, был прав, но я знал точно, что сияние и закат — разные вещи, но не стал его разубеждать.

Будучи заядлым спорщиком, я быстро сообразил, что лучше и эффективнее высказывать свою точку зрения так, чтобы она внешне не противоречила другим мнениям, и не указывать в присутствии третьего на ошибки другого. Пребывание на обитаемом острове подобно жизни в замкнутом пространстве, нарастающее раздражение не на ком снять, а не снятая обида и не разряженная злость накапливаются, вызывая все более резкие стычки. Это я знал по изыскательской партии. Опытные полярники не раз говорили, как легко вспыхивает личная неприязнь на Севере. Но я даже представить не мог, что она так быстро переходит в настоящую вражду. Увы, именно это происходило с моими коллегами. Словесная пикировка и споры с целью демонстрации, кто опытнее, привели к взаимному неприятию, а затем и ссорам. Постепенно их ругань стала невыносимой и я сказал: «Кончайте, мужики. У нас два карабина, ложитесь за сопками и решите, кто из вас прав. В противном случае я пристрелю обоих». Естественно, я имитировал Джека Лондона, но в тот момент был так зол, что готов был выполнить свою угрозу всерьёз. Во всяком случае, шокирующая перспектива на этом этапе ещё подействовала, отныне они перестали пререкаться при встрече, но наговаривали друг на друга, когда кто-то из них оставался со мной в палатке. Я обычно резко реагировал, и вражда хоть не исчезла, но затаилась.

Жизнь каждого из нас была построена следующим образом. Сутки дежуришь, выходя каждые два часа для замера, готовишь пищу. Следующие сутки отдыхаешь, а на третьи занимаешься рыбалкой, бродишь по острову, пытаешься охотиться. Моя цель была найти хороший бивень мамонта, остатками которого были усыпаны северный склон, спускавшийся к морю. Но все бивни были какие-то расщеплённые, больше похожие на расклеивавшуюся слоёную фанеру. Для меня самым страшным было приготовление пищи, о большинстве блюд я имел смутное представление, да и выданные продукты оставляли желать лучшего. Выход нашёлся благодаря обильным дозам красного и чёрного перца, добавляемого во все блюда, кроме чая и кофе, под предлогом того, что я люблю острое. Каждая ложка обжигала горло и далее было невозможно разобрать, что не доварено, что переварено, что разварено, и, вообще, из чего приготовлено то или иное блюдо. Тем не менее, ничего не приходилось выкидывать, лишь просили следующий раз чуть меньше класть специй, я обещал, на следующий раз «забывал» и все снова съедалось с кряхтением. Вскоре пища стала стремительно кончатся, и уже все приготовленное сметалось без комментариев.

Когда основные запасы пищи кончились, начался непрерывный шторм, унёсший нашу сеть. Со льдами пропала вторая, а третью нельзя было ставить, так как не из чего было делать грузила. Так мы остались без рыбы, хотя предполагалась, что она будет одним из главных источников питания. Оленины нам дали тоже мало, хранить в палатке было опасно, да и могла бы испортиться, поскольку температура была плюсовой. К тому же предполагалось, что мы набьём местных оленей. Судно ушло в другой район из-за непогоды. Вместо планируемых 7 дней, мы пробыли на острове Макар 21. Быстро кончился хлеб, масло, сахар, консервы и т. д. Были крупы, но в наших условиях из них все время получалась такая гадость, что ели без аппетита, чтобы лишь утолить чувство голода. Я впервые осознал, как важна сбалансированная еда, начиналась слабость, сонливость. Мы все надеялись на удачную охоту. Но на острове были бессметные стаи гусей, нырки, два небольших стада диких оленей, зайцы, нерпы, песцы и мы были прекрасно вооружены.

Готовясь к экспедиции, я попросил прислать мне из Челябинска ружье и мелкокалиберных патронов, которые были в дефиците на Севере. Мой одноклассник Владик Алесковский прислал более 500 патронов, написав, что ими можно расстрелять всех белых мишек. Нам полагался также карабин, ракетница, фальшфейера, три сети для ловли рыбы. Кроме того, капитан дал свою пятизарядную мелкокалиберную винтовку и судовой карабин, наказав набить оленей и наловить как можно больше рыбы для команды. Таким образом, экипированы мы были более, чем достаточно, и при элементарных охотничьих навыках могли бы жить припеваючи, нанося большой ущерб фауне острова, площадь которого была около 60 квад-

ратных километров. Но как раз охотничьих навыков и не было, хотя Саша постоянно рассказывал о своих охотничьих подвигах на Севере, вспоминая особенно часто охоту на лебедей. У меня в детстве тоже был юношеский разряд по стрельбе, и, как целится, я знал, не знал только, что в бегущего зверя или летящую птицу попасть сложнее, чем в яблочко неподвижной мишени.

Впервые я заподозрил это, когда попытался пристрелить нерп, сопровождающих нас каждый раз, когда мы ходили проверять сети. То ли из любопытства, то ли желая узнать, где наши сети, чтобы полакомиться пойманной нами рыбой, они вдвоём почти всегда плыли за нашей ледянкой в 3–4-метрах, и их головы торчали как перископы подводных лодок. Убивать их было бесполезно, они ещё не нагуляли жира, и мёртвые сразу же бы пошли на дно. Когда из-за жажды мести конкурентам, разгоняющих рыб, когда из-за слепого охотничьего инстинкта, мы стремились их убить, но каждый раз, услышав удар курка, они успевали нырнуть. При обилии гусей мы не смогли убить ни одного, озер там было много и они, завидя приближающегося охотника, снимались и перелетали на другое озеро, а устраивать засаду было бесполезно, так как нельзя было предположить, куда они полетят кормиться. Более того, каждый вечер они, как бы издеваясь над нами, пролетали на высоте нескольких десятков метров над нашей палаткой, и мы выскакивали и палили из всего нашего арсенала. Но не добыли ни одного трофея. Хоть Саша все свободное время проводил в погонях за оленями, но убил время, ноги и самое главное — потерял морской бинокль, который одолжил мне Фетисенко. Однажды одно стадо оленей голов 11 оказалось недалеко от нашей палатки, а сзади их было большое озеро. Мы были уверены, что они теперь никогда не уйдут, но они, подпустив нас метров на двести, прыгнули в холодную воду и переплыли озеро.

Не смог я застрелить ни одного песца, которые твкали на нас все время из-за любого холмика. Убивать их тоже не имела смысла, ведь их летняя шкурка никуда не годится, да и выделать её мы бы не смогли. Разозлившись на напугавшего меня песца, выскочившего из под самых ног и остановившегося, чтобы обляять меня, я дважды стрелял в наглого зверька, а он продолжал злобно и свирепо лаять. Лишь, осознав, что я настроен серьёзно, для чего лёг и, как учили в стрелковой секции, раздвинул правильно ноги, зверёк, гавкнув несколько раз, скрылся за холмом. За все время нам удалось добыть крупного зайца, которого мы сварили и сожрали чёрный бульон с громадным удовольствием, а также двух небольших нырков, чуть не поубивав друг друга при отстреле несчастных пташек. Ранее ещё под Тикси на охоте убили из моего ружья влёт трех, помнится, куликов, но стрелял не я, в противном случае птицы бы остались целы, а мы без дичи на ужин.

Местный охотник, чьим охотничьим угодем становился остров зимой, по всему острову расставил ловушки для песцов на склонах холмов, которые выглядели как распахнутая пасть какого-то гигантского зверя. Центральное место в нем занимало бревно, заваленное мхом и землёй, один конец бревна упирался в склон, а другой подпирал кол. Со всех сторон была такая система жилок, что зверя, привлечённого приманкой, неизбежно придавливало. Охотник песцу совал в пасть приклад или палку, и когда тот в цеплялся в них, убивал ударом по голове молоточком, который используют невропатологи и который он все время носил за голенищем. За сезон хороший охотник набивал столько песцов, нерп, а, иногда и медведей, что мог бы купить несколько «Волг», на которую обычно в СССР копили всю жизнь. Но «Волга» ему в тундре не нужна была. По окончании охотничьего сезона он улетал на материк, чаще всего в Якутск, где, подобно дореволюционным золотоискателям, гулял, сорил деньгами. Через несколько недель возвращался на остров нищим, брал в долг провиант, охотничьи припасы и все начиналось сначала. На некоторых островах охотники жили постоянно вместе с жёнами, что иногда становилось источником конфликтов с мужиками-полярниками, которые пользовались тем, что якутки не обязаны хранить честь мужа, а за посягательство на жену соседа можно было и поплатиться жизнью. Якуты были сильны, ловки, смелы и обычным полярникам могли изрядно наkostenять.

Наконец, нам по радиации сообщили готовиться к прибытию судна, увидев которое мы стали собирать вещи. Погода была хорошая, уже светало, море было абсолютно спокойно. Зная, что обещают шторм, мы предполагали, что сразу начнётся эвакуация. Но нам пришлось убедиться, что настоящие полярники не любят делать ничего в нормальных условиях. Как у поэта: «а он безумный ищет бури, как будто в буре есть покой». Пока стоял штиль, никто не шевелился на судне, лёгкий бриз породил волнение и на палубе. Но только когда море привычно заревело как сотня тракторов, накатываясь волной за волной на пологий берег, десятикратно разламываясь гребнями на мелководье, спустили катер, который остановили метрах в 100. Лодка также не могла подойти к берегу и пришлось несколько часов вещи таскать по пояс в ледяной волне. Одно приятно, начальство таскало вместе с нами. Таким образом, эвакуацию с острова Макар запомнилось мне как «мокрое дело».

На судне я получил несколько десятков писем, главным образом от мамы и моей невесты Юты, обе писали очень подробно, с массой деталей и лирическими отступлениями, и перечитывание их посланий заполнило многие часы моей арктической Одиссеи. До сих пор не могу понять две вещи. Как могла почта столь оперативно и аккуратно работать в те годы, доставляя за десятки тысяч километров в отдалённые уголки Арктики письма за 7 копеек марка, и ни одно из них не потерялось, передаваясь порою многократно с судна на судно? Почему же так безобразно работают почтовые службы Санкт-Петербурга наших дней? В пределах города письмо «гуляет» две недели и зачастую не находит адресата, пропадая в недрах раздутой системы почтовых чиновников с их огромными простынями-договорами?

Отдыхать на судне не пришлось. Надо было обрабатывать материалы наблюдения и пришлось это делать мне, так как географ Олег Клейменов этому тоже оказался не обучен, а в разъяснения не врубался. Море к этому времени в основном освободилось от льда, во время шторма качка была сильнее. Из молодых курсантов не все адаптировались к качке, я же большую часть и до этого проводил на мостике, я переносил её легче. Приходилось некоторых подменять на четырехчасовые вахты.

Вскоре мы подошли к мысу Буор-Хоя, где должны были высадиться и пробыть там ещё три недели. Здесь я ещё раз убедился в незыблемом законе Арктики: любая работа должна выполняться во время и в условиях, наименее подходящих для успешного завершения, с максимальным напряжением людей и с реальной угрозой для жизни.

К Буор-Хоя мы подошли поздним вечером в абсолютной темноте, только скользкий луч маяка на мгновение освещал место предполагаемой высадки и быстро уходил налево. Был довольно сильный ветер, штормило и шел снег. На палубе находиться было неуютно. Тем не менее, решили рассвета не ждать, спустили катер, погрузили в него все имущество, две лодки и помчались к берегу. В этом месте дно было крутое и берег на метр-два возвышался сразу у кромки моря, и даже опытным полярникам было ясно, что высаживаться будет трудно и опасно, а вещи сгрузить совершенно невозможно. И появилась гениальная идея: от катера, который бросил якорь в метрах 40 от берега, послать лодку с двумя мариманами, которые забьют там штырь, к которому закрепят канат и дальше, держась за канат, на лодке в несколько этапов переправить вещи. Мне «повезло», одним из этих первопроходцев назначили меня, и вместе с моим напарником, действительно опытным моряком мы попытались подгрести к берегу, но никак не могли грести в ритме и с равными усилиями, в итоге лодка крутилась, поворачивалась бортом к волне и заливалась. Разозлившись, мой напарник сел на весла один, и, хотя он был очень сильный, лодка практически не могла сдвинуться с места, так как откатывавшие от берега волны относили её обратно. Наконец, самим авторам идеи стало ясно, что высаживаться не только опасно, но просто невозможно. Нам дали команду прекратить попытки прибиться к берегу, и мы вернулись на борт судна.

К утру ветер неожиданно стих, штормить перестало, выглянуло солнце и мы высаживались на берег, усыпанный первым арктическим снежком, который оказался недолговечным. Будучи уже опытными полярниками, мы быстро разбили наше КАПШ-2, установили бур-

жуйку и приступили к регулярному замеру уровня моря. Репер здесь уже был, имелись и водомерные рейки. В отличие от предыдущего местопребывания мыс Боур-Хоя по арктическим масштабам был перенаселённой территорией. Здесь постоянно была полярка, где зимовали каждый год 10-12 человек. Летом они готовились к зимовке, собирали дрова, заготавливали мясо, ловили, сушили и коптили рыбу и т. д.

Примерно в километре от полярки была радиометрическая станция, где на лето размещалась группа из Ленинграда, обеспечивавшая точную привязку гидрографических судов во время съёмки дна. Мы первое время к ним часто ходили, играли в карты, но со временем мне надоели бесконечные рассказы начальника группы о том, какие кругом все подлецы и негодяи и какой он умный и порядочный. Питались они отдельно. Им удалось за несколько бутылок водки купить у якутов оленей и у них было вдоволь мяса. Интересно они рассказывали о сделке. Приехали на санях, в которые были запряжены олени, два якута, пастухи-оленеводы и говорят «У нас к Вам один серьёзный вопрос. Водка есть? Мы убили двух оленей недалеко, могли бы обменять». Водка была, видимо, жажда выпить поскорее была столь велика, что они тут же закололи нескольких оленей, считавшихся совхозными. Кстати, дикие и домашние олени часто паслись вместе.

Рядом с поляркой, недалеко от нас была палатка топографов из Ленинграда, один из которых к моему удивлению очень хорошо знал брата Илмара Раймонда. Мир оказался столь тесен, что на краю земли, куда уж точно Макар своих телят не гонял, встречаешь знакомых своих знакомого. Чем занимались топографы, я не помню, так как в основном один из них любил днём со мной играть в шахматы, а второй занимался заготовкой рыбы. Тому же основное время посвящали четыре строителя, которых за все время я не видел на стройке сооружаемого ими дома, но все время они куда-то гоняли на тракторе. Мужики они были крутые, за плечами у каждого не по одной ходке на зону, на материк им дорога была заказана. Зимой они пили в Тикси, три месяца в году трудились вдумчиво на полярках, строя неведомо как и с почти что нулевой производительностью труда. Я был достаточно деликатен и не задавал бестактные вопросы людям, которые были твердо уверены, что за поломанную жизнь и их согласие пребывать здесь у чёрта на кулички ежемесячная зарплата 450 рублей недостаточная компенсация. Им не хватало спиртного в любом виде, ради него они были готовы на все. Хотя они питались на полярке, отношения были очень напряжённые.

В этом заброшенном богом клочке земли, где на короткий летний сезон собралось около 30 человек, бушевали свои страсти и каждый хотел привлечь нас на свою сторону, кроме начальника полярки, который воевал против всех, включая своих подчинённых, так как был психологически жадным, неуживчивым, язвительно-подозрительным человеком. Я не знаю, как такого человека вообще могли послать на полярку, да ещё поставить начальником. Ведь от характера начальника полярки часто зависело: выживет ли коллектив во время зимовки или перестреляют друг друга? Особенно не любили начальника строители. Он не давал им сахар для варки браги и не желал кормить гусями, которых, по их рассказам, они же набили палками целые сани на Гусином озере в нескольких километрах в глубь материка. На все их вопросы, где же гуси, он им отвечал: «Улетели».

Увидев наш арсенал, они сразу предложили отправиться на озеро и поохотиться всласть. Естественно мы согласились и на следующий день, погрузив на сани с большим кузовом нашу лодку-ледянку, отправились большой группой за добычей. Хотя на санях я детстве ездил много, но впервые они шли по земле, оставляя огромный след на почве. Ещё разрушительней был эффект от гусениц трактора, начисто сдиравших растительность и почвенный слой. Позднее я узнал, что он восстанавливается десятилетием. Добрались до озера, с огромным островом посередине. В бинокль оказалось, что это не остров, а огромная стая гусей, которые к берегу плыть не хотели, а когда мы спустили лодку, улетели на другие озера. Разочарованные, мы сварили какую-то похлёбку, но я остался голоден. Они все ели из общей

миски, что я органически не мог, и вынужден был сослаться на расстройство желудка, чтобы не подумали, что выпендриваюсь.

Однако строители не расстраивались неудачей. Думаю, что сама поездка была для них операцией прикрытия. Вернувшись на мыс Боур-Хоя, они залезли в ледник, где начальник хранил гусей, свистнули десяток гусей, половину уступив нам за 5 кг сахара, из которого сварили брагу и были счастливы несколько дней. Начальнику, обнаружившему покражу, они сказали, что гуси улетели, и он ничего не мог сделать, так как понимал, что вор у вора украл дубину. К ним у него не могло быть претензий, поскольку понимал, что сами мы за гусями не лазили, но сахар больше нам не продавал и не позволил нам коптить на полярке рыбу.

Рыбалка здесь была более удачной. В более или менее спокойную погоду два раза в сутки, утром и вечером, на лодке уходили вдоль берега на запад, где примерно в полутора километрах стояли сети. Надо было не зевать, в противном случае их проверял кто-то из наших соседей, у которых тоже там стояли сети. В случае удачи попадалось 10–15 штук муксуна или омуля от 500 гр до 1,5 кг. Одну рыбу вместе с мелочью мы выделяли на уху, остальные солили и вялили на открытом воздухе, не достигнув, однако, совершенства. Рыбой в основном занимался я во время дежурства.

Мои товарищи, увидев на мысе неприкрытую борьбу всех против всех, стали реже переговаривать друг на друга и в нашей палатке воцарился мир и спокойствие. В свободное время мы уходили в тундру всегда с карабинами, хотя животный страх перед белым медведем прошёл. Искали бивни мамонтов, я любовался удивительной растительностью, изумительными закатами, а иногда и рассветами, отделёнными друг от друга несколькими десятками минут. Появлялась мысль о том, что здесь понимаешь, как человек мал и бессилён перед лицом суровой природы, несколько раз ловил себя на мысли о бессмысленности бытия и желательности скорейшего успокоения. И только долг перед близкими людьми удерживал от роковых шагов.

Хорошо сохранившийся кусок бивня мамонта нашёл Олег Клейменов как раз накануне моего дня рождения. Бивень около двух метров длиной был расщеплён на две части вдоль бивня, лучшую весом около 10 кг. и притащил Олег, распилил на несколько частей и две дал мне, сантиметров по 30 длиной. Ещё он предлагал мне огромный зуб мамонта, но я решил, что тащить его в Ленинград не стоит. Сейчас я понимаю, это были царские подарки. Один кусок я отдал Борису Фетисенко, второй подарил маме, она передарила моему сыну.

Мимо мыса Боур-Хоя далеко в море шли караваны судов. В один день два сухогруза остановились, пришёл катер и предложил строителям обменять рыбу на водку. Те отправились, прихватив мешки с рыбой, но на борту выяснилось, что просили за бутылку водки по цене 2 руб. 87 коп. 10 отборных, как тогда говорили, царских рыб, весом 7–10 кг. Строители обалдели, начали торговаться, на судне не уступали, а выпить хотелось и мешок рыбы они отдали за несколько бутылок водки. Рухнул весь бизнес. За глоток алкоголя работали все лето полярные строители, терпя лишения, чтобы верные сыновья партии и морские волки могли получить примерно 1000% прибыли.

Вскоре пришло наше судно, которое привезло и продукты для полярников, остававшихся на зиму, в том числе и спиртное. На этот раз погода была прекрасная, море не шелохнулось, полный штиль. Катер подошёл к самому берегу, мы все погрузили сразу. На борту оказалось, что команда судна, за исключением капитана и нескольких курсантов, была абсолютна пьяна. У штурвала стоял сам капитан, на кране работал стармех, командовал погрузкой елестоящий на ногах второй штурман. Нам пришлось сразу включаться в работу, попытки поднять и включить в работу боцмана были безуспешны. Разбуженный, он приходил, заглядывал с палубы в трюм, кричал невпопад «вира» или «майна» и шёл спать. Его расталкивали снова, но он чуть не свалился в трюм, и стало понятно, что лучше оставить его в покое. С грехом пополам закончив погрузку, мы пошли снимать дежурных с других водопостов на Лисьем Носу и на Дунае. И там основную работу пришлось выполнять нам, так как наиболее опыт-



ные матросы во главе с боцманом были в запое. Я относился спокойно к подобному расширению обязанностей, а мои коллеги, особенно Саша Никитин, ворчали, не хотели также чистить посуду, готовить инвентарь к сдаче, заниматься камералкой.

На Дунае почти два месяца пробыл Боря Фетисенко, живя в доме полярной станции и питаясь там же. За этот срок его успели возненавидеть все, а он, в свою очередь проникся ко всем презрением, с утра до вечера советуя окружающим, что, как и для чего делать, вплоть до правильной сервировки стола и отправления естественных потребностей. Думаю, его пожалели по молодости и из-за полного недопития. В других бы условиях ему пришлось плохо, так как народ и здесь был крутой. Радиометристов с мыса Буор-хоя мы снимали в сильный шторм и ночью, успокоились после того, как одна лодка с молодой парой и их вещами опрокинулась. Пару удалось спасти, но все нехитрое имущество погибло, и было больно смотреть на них, молодых и растерянных, оставшихся без всего на Севере в условиях надвигавшейся зимы. Ввиду ЧП решили подождать до утра, когда сняли всех остальных, включая начальника станции, который вдруг решил, что все когда-то бывшие на Боур-Хоя должны ему подчиняться, учитывая его преклонный возраст и полярный опыт.

В Тикси мы вернулись, когда сухой закон соблюдался не так уж строго. Большая часть города пила, шло подведение итогов навигации, выливавшиеся в пьяные разборки, кого-то уже зарезали. Начали заводиться и наши матросы. Когда нам появилась возможность уехать пораньше, мы приложили все усилия для этого, я лично пошёл к начальнику гидрографической базы и убедил его так сделать, хотя ответственный за отъезд ленинградцев, которым был назначен как раз начальник радиометрической станции с мыса Буор-Хоя, яростно сопротивлялся. Как только мы получили добро, помчались на судно, побросали вещи в рюкзаки, схватили мешки и коробки с рыбой и отбыли на попутке в аэропорт. За спиной осталась кладбище, куда вскоре привезли ещё двух членов нашей команды, включая 58-летнего стармеха, приехавшего на Север заработать побольше пенсию. Полет до Москвы занял сутки, там мы сразу зарегистрировались на ближайший рейс на Ленинград, рискуя не получить в срок багаж. В последний момент удалось. До общежития я добрался один. Началась гульба, о привезённой рыбе узнало все общежитие, многие приходили попробовать. Если меня и соседей не было, приятели из других комнат выдавали искомое. Успел я только две рыбы послать домой.

Север остался ярчайшим впечатлением моей жизни, открывший глаза на наше ближайшее будущее. Громадные людские и материальные ресурсы тратились в условиях абсолютного хаоса, полнейшей бесхозяйственности и тотального пьянства. Спасти ситуации не могли даже люди, которые, конечно, проявляли подлинный героизм, правда, чаще всего в созданных же ими самими невыносимых условиях. Тогда, я увидел непреодолимое свойство социализма: создавать громадные трудности, чтобы их героически преодолевать. При этом ни разу я не услышал слов из арсенала партийной пропаганды. Идея коммунизма там уже была абсолютна мертва. Она не выдержала проверку в суровых условиях.

### *Начинающееся прозрение*

Поворотным пунктом в истории СССР стал, по-моему, 1967 г. Это был год 50-летия советской власти, которое отмечались достаточно пышно и с размахом, но при полном равнодушии населения. Мощные факторы, способствовавшие победе и сохранению советского строя, практически перестали действовать. Дети крестьян и рабочих, получивших благодаря революции образование и интересную работу, уже стали пожилыми людьми, измотанными десятилетиями изнурительной жизни в коммуналках, в условиях постоянного дефицита и ожидания светлого будущего. Даже массовые новоселья в те годы не могли их удовлетворить. Квартирные с низкими потолками, малюсенькой кухней, узкой прихожей, зачастую совмещёнными туалетом и ванной, абсолютным отсутствием звукоизоляции оказались не похожими на ту во-

жделенную, удобную, отдельную квартиру «сталинку», о котором мечтали в коммуналках, бараках, подвалах, вагончиках и землянках.

Если Н.С. Хрущев ещё обещал, что малогабаритки — временное решение проблемы, а лет так через 10–15 мы вновь вернёмся к строительству нормальных квартир, то новый триумvirат (Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, Н.В. Подгорный) об этом уже не заикался. Рост зарплаты в промышленности привёл к росту покупательной способности у части населения, что привело к дефициту многих товаров даже в столицах, не говоря уже о периферии. Начали формироваться «колбасные» поезда, по которым жители городов и сёл, находящихся в радиусе 1000–1500 км. от Москвы, вывозили из неё дефицитные продукты и товары. Из года в год усиливалась инфляция, что неизбежно вело к ухудшению жизни тех, кого правительство не считало своей главной социальной опорой, т. е. преподавателей высшей и средней школы, врачей, инженеров и т. д. Так, например, зарплата научных сотрудников и преподавателей высшей школы не менялась почти 40 лет. Ухудшалось и положение военных.

Исчез и эффект гордости за великую страну, сломавшую хребет Германии и спасшую мир от «коричневой чумы XX века», лидера в области науки и техники. О последствиях доминирования т. д. Лысенко в биологии знали все, и были уверены, что именно диалектический материализм — главная причина отставания в области биологии, кибернетики, химии. Многие ключевые должности в партийно-правительственных кругах, да и в самой науке, и после снятия Хрущева остались за «лысенкоистами». Сторонники генетики и молекулярной биологии должны были утверждаться с боями, непрестанно апеллируя к ЦК КПСС и каждый шаг вперёд в науке требовал сложных маневров, поисков патронов, коллективных писем и т. д. Гибель космонавта В.М. Комарова расценивали как начало провалов в космической гонке, где со времён первого спутника и полёта Ю.А. Гагарина наше преимущество казалось неоспоримым. Последовавшая в 1969 г. высадка американских астронавтов на Луну и последовавшие затем разъяснения, что у нас другая программа и на Луну мы не собирались посылать человека, однозначно понимались как официальное признание безнадежной отсталости. И хотя специалисты знали, что прогресс есть и каждый шаг вперёд связан с решением все новых и новых задач и разработкой более совершенных технологий, народ, включая интеллигенцию, индифферентно и даже порой враждебно относился к очередным «победам советской науки и техники», рассматривая их чаще всего как бессмысленную трату денег.

На размывание советского патриотизма большое воздействие оказала семидневная война, где крошечный Израиль под руководством министра обороны Моше Даяна наголову разбил могучих арабских союзников, возглавляемых Героем Советского Союза Абделем Насером. Последний, правда, в годы Второй мировой войны воевал против наших союзников англичан и строил социализм национал-социалистического толка, но устраивал СССР своим устойчивым антиамериканизмом. Советские войска и кадровые офицеры в тех битвах на Аравийском полуострове не участвовали, но все понимали, что войну проиграли союзные нам режимы, чьи армии были снабжены нашим оружием, а кадры обучены нашими офицерами. И хотя культивировался миф о Моше Даяне как бывшем полковнике Генерального штаба СССР и Герое Советского Союза, появились сомнения, а сильнее ли всех «Красная армия». До этой войны критике и осуждению подвергались в основном внутренняя политика властей. Теперь все чаще стали говорить о провале внешней политики. Это нашло свое отражение в новой серии политических анекдотов о советской помощи арабским странам, которым якобы предложили кутузовскую тактику: отступить в глубь пустыни и ждать, пока наступит русская зима, а из Москвы пришлют полушубки.

К 50-летию Октября Ленинград был украшен гирляндами, знамёнами, транспарантами, портретами членов и кандидатов в члены Политбюро. Так снова стали именовать Президиум ЦК КПСС. Красного цвета было настолько много, что я сказал будущей жене, что создавалось впечатление какой-то глобальной менструации. Гуляя с ней по набережной Невы, мы подошли к крейсеру «Авроры», который перетаскивали к мосту лейтенанта Шмидта, откуда она

в октябре 1917 г. дала исторический залп. Впоследствии историки доказали, что к моменту выстрела Зимний дворец фактически уже был захвачен, а сигнал к его штурму должен был дать ВРК, размещившийся в Петропавловской крепости, но из-за того, что забыли заранее запастись верёвкой, сигнал вовремя не был отдан и штурм начался стихийно. Тем не менее «залп Авроры» в официальной пропаганде был назван началом новой эры, на крейсере принимали в пионеры, его посещение входило в распорядок всех иностранных партийно-правительственных делегаций. Поскольку крейсер стоял обычно в стороне от моих ежедневных маршрутов, мне до этого не приходилось видеть его вблизи. А теперь он оказался недалеко от университета, чтобы, как говорили народные шутники, дать новый залп по новому временно-му правительству. Нам пришлось наблюдать, как в моросящий дождь, в темноте, было около 8 часов вечера, к крейсеру подъехала группа машин, из которой вывалилась толпа в штатском с поднятыми воротниками и надвинутых на глаза шляпах и как-то быстро вскарабкалась по трапу на борт корабля. Было какое-то ощущение, что они прячутся и не желают, чтобы их заметили. Народу глазело на крейсер много, но мало кто обратил внимание на посетителей в штатском. На следующий день я узнал из газет, что присутствовал при посещении крейсера руководителями партии и правительства во главе с Л.И. Брежневым. Эта таинственность, желание остаться незамеченным народом в дни «всемирного праздника» говорит о многом. Властители не заблуждались насчёт истинного отношения к себе и не желали ненужных эксцессов.

Судьба распорядилась так, что по паспорту день рождения моей тётки Раи приходился на 7 ноября, и не прийти к ней в этот день означало нанести смертельную обиду. Значительную часть её гостей составляли родственники тогдашнего мужа. Почти все они воевали, поэтому в хоровом пении — непременном атрибуте тогдашних празднеств — доминировали песни военных лет, которые большинство пели весьма задушевно и с патриотическим подъёмом. И вот по просьбе тётушки и её супруга я спел на соло «Штрафные батальоны» В. Высоцкого, шокировав тем самым одного из гостей, полковника в отставке, усмотревшего в песне какое-то неуважение к фронтовикам. Я почувствовал себя достаточно неловко, так как никогда в жизни не помышлял о подобном.

Вспыхнул спор, страстность которому придавала солидная доза алкоголя, выпитая всеми присутствующими. Удивительным оказалось то, что мой оппонент остался фактически в одиночестве, а остальным ветеранам песня, даже в моем исполнении, понравилась. А муж тётки шёпотом посоветовал не реагировать на упрёки, так как негодующий большую часть времени провёл в тыловых частях, в боях практически не участвовал и не имел право говорить от имени тех, кто в первых рядах шел в атаку, под пулемётами заградотрядов. Теперь об их существовании знают все, но тогда фронтовики предпочитали о них не говорить. Поддержка их в день 50-летия Великой Октябрьской революции кажется мне весьма знаменательной, так как боевые офицеры вспоминали о войне и оценивали её совсем иначе, чем принято было в официальной пропаганде, делавший упор на единстве партии и народа как залого победы.

Ввод войск Варшавского договора в столицу Чехословакии, население которой было одним из наиболее расположенных к нам и искренне благодарным за позицию СССР в Мюнхенских соглашениях 1938–1939 гг. и за спасение Праги в 1945 г., усилил критический настрой. Войска практически не встретили никакого сопротивления, и гордиться военной победой не пристало. Да и какая победа? Мы потеряли симпатии дружеского народа. В аргументы о необходимости предупредить вторжение Западной Германии верилось с трудом, да и слова о братской помощи звучали неубедительно. До этого была проведена серия встреч руководителей СССР и Чехословакии, где пытались уговорить новых её руководителей свернуть Пражскую весну и отказаться от построения «социализма с человеческим лицом». Несмотря на скупость официальных сообщений было ясно — «братьям чехам» выламывают руки. В народном фольклоре отметили, что в составе советской делегации наряду с т. Брежневым,

т. Косыгиным, т. Подгорным присутствовал Т-34. Никто не поверил и в существование «группы товарищей», якобы пригласивших войска ГДР, Венгрии, Польши, СССР и Болгарии для оказания интернациональной помощи. Наоборот, говорили, что единственная цель этой военной группировка отыскать «эту группу товарищей», что вскоре было сделано, когда Густав Гусак согласился сыграть роль коллаборациониста. Карательный характер наших войск был ясен всем. Большой популярностью пользовался анекдот, приписываемый молвой директору ИИЕТ АН СССР академику Б.М. Кедрову, который в качестве средства решения проблем Чехословакия предложил «Дуб срубить, Чека оставить» (Дубчек — фамилия тогдашнего Первого секретаря Компартии ЧССР, инициировавшего Пражскую весну).

Конечно, были и те, кто продолжал одобрять подобный экспорт братской помощи. Много лет спустя приёмный сын моей тётки Юрий Кузьмин, участвовавший в качестве солдата срочной службы в «братской помощи» Праге, напомнил мне, что в декабре 1968 г. он после демобилизации приехал ко мне в гости, в общежитие и был удивлён нашим отношением. Ему особенно запомнился мой аргумент, что в гости к друзьям с топором не ходят, а к союзникам на танках не приезжают.

Семидневная война арабов с евреями, вторжение в Чехословакию шли на фоне других малоблагоприятных для СССР событий. КНР из ближайшего союзника и «брата навек» превратился в одного из самых вероятных противников, мечтавших столкнуть США и СССР в термоядерном конфликте, чтобы «с высокой горы наблюдать, как два тигра в долине уничтожают друг друга». Так, формулировалась стратегия КНР в передачах пекинского радио, круглосуточно громившего на русском языке советский ревизионизм и американский империализм. В фарватере китайской политики шел и воспитанный нашими спецслужбами президент Северной Кореи Ким Ир Сен. Вместо дружеского нам президента Индонезии Сукарно, именуемого часто братом «Карно», эту страну возглавил генерал Сухарто, уничтоживший сотни тысяч коммунистов и проводивший прозападный курс. Потеряли власть и просоветские руководители Ганы (Кваме Нкрума), Алжира (Бен Белла), Гвинеи (Секу Туре). Все меньше на СССР стали полагаться лидеры арабских стран Египта, Сирия и Ирак. Все больше неприятностей и проблем доставляли лидеры социалистических стран в Европе. И хотя только с Албанией полностью были прерваны союзнические отношения, но самостоятельную политику стремились проводить Румыния, Польша, Венгрия. Периодически вспыхивали и затухали дискуссии с югославскими коммунистами. Одним из основных критиков политики СССР стали мощные и влиятельные компартии Италии и Франции.

США также переживали не лучшие дни, все больше и больше увязая во Вьетнаме. Тем не менее, становилось ясно, что тотальное наступление коммунизма остановлено, само движение расколото и победа коммунизма в мировом масштабе откладывается на неопределённое время. У нас становилось все меньше и меньше союзников, а в друзьях значились лишь те, кого мы подкупали низкими ценными на сырьё, промышленные товары и вооружение, закупаемые к тому же на наши деньги. Сейчас мы пытаемся делать тоже самое по отношению к некоторым странам из ближнего зарубежья, но эффект аналогичен. Последние события на Украине — тому наглядное подтверждение. В политике так же, как и в реальной жизни, — деньгами любовь не купишь даже у «братского» народа. Вообще после событий в Югославии и Чехословакии надо бы навсегда избавиться от мифа о братских народах, так как внутривидовая борьба, как и гражданские войны, всегда наиболее жестокие и беспощадные.

Не блестяще оказывались дела внутри страны. Отставание по производительности труда неуклонно увеличивалось, как и возрастал разрыв по всем важнейшим показателям жизни и производства от всех промышленно развитых держав, не говоря о США. Все планы проваливались. С исчезновением страха репрессий исчезли не только стимулы для самоотверженной работы, но и необходимость поиска талантливых и умелых исполнителей. Вместо них важнее было подобрать и всюду расставить своих людей. И хотя декларировали подбор кадров по деловым и политическим качествам, на самом деле все обстояло иначе. Графы анкет,

кумовство и политиканство на фоне все усиливающейся роли партийных органов и спецслужб стали главными факторами служебной карьеры. Стремительно нарастала коррупция в органах власти, главным источником которых вначале была торговля. В этих условиях миллионы молодых активных людей потеряли всякие шансы на карьеру. Всеобщее пьянство и пофигизм становились главными чертами поведения основной части населения.

Суды над Ю. Даниэлем, А. Синявским, А. Гинзбургом окончательно рассорили активную часть творческой интеллигенции с партийными кругами. Многие не хотели довольствоваться ролью «инженеров человеческих душ», творящих по заказу и под контролем властей. Некоторые из этих творцов, созданных в условиях сталинской диктатуры, вкусили дурман общественного признания, вспомнили некрасовский призыв о том, что главное в жизни — быть гражданином, а поэзия сама по себе дело десятое. Ещё тверже на этом стояли писатели и поэты призыва 1950–1960-х гг. Правда, многие из них к тому времени оказались за рубежом, так как оттуда было удобнее, да и безопаснее глаголом жечь сердца людей. Но их книги доходили до желавших услышать. Налаживалась сеть самиздата, а вскоре появилась настоящая антисоветская литература, к которой в те годы уже относили и сочинения А.Д. Сахарова. Его наивные идеи о необходимости конвергенции мира капитализма и социализма с сохранением положительных черт, присущих к каждому из них, казались тогда достаточно радикальными. Проявив элементарные знания в области радиотехники, каждый при желании мог наладить регулярное прослушивание вражеских радиоголосов, не смотря на периодически возобновляющееся глушение. В основном тогда передавали бесконечные произведения А.И. Солженицына, который становился кумиром российской интеллигенции. Все это впитывалось студентами нашего факультета.

Из только что напечатанной в журнале «Вопросы философии» *блестящей статьи* В.П. Макаренко «Решённые вопросы: повесть М.К. Петрова „Экзамен не состоялся“» я понял, насколько всерьёз часть философского истеблишмента уже задумывалась об адаптации к новым перспективам мышления, допуская и полный отказ от идеи социализма. Мы, конечно, так далеко не шли. Вместе с тем формирующееся «в трамваях и пивных» общественное мнение заставляло задумываться и нас. Практически ни одни посиделки с водочкой не проходили без споров на эти темы, а к третьему курсу и компании в какой-то степени стали формироваться по общности взглядов. Некоторые, как Витя Павлов, Витя Аполлонов, Илмар Башко, а порой и я, высказывались достаточно остро по этим вопросам на семинарах.

Деканат по требованию партийных властей вяло пытался на это как-то реагировать. Уже на пятом курсе был введён спецкурс «Критика современного антикоммунизма», который читала старая коммунистка Зоя Михайловна Мелешенко. До этого она читала нам курс философии Г.В.Ф. Гегеля, и надо сказать читала блестяще. Она говаривала: «Гегеля, кроме меня и Лукача, никто не понимает. Лукач — светлая голова! Но свихнулся, ревизионистом стал, в американском посольстве скрылся». Мы хихикали по поводу её подобных политических сентенций, ходили на головах, что её страшно бесило. Как-то она набросилась на Колю Ляпина, который никогда не скрывал ненависти к марксизму, и закричала: «Сейчас, когда идеологическая борьба между двумя мирами обострилась до предела, я в 80 лет снова в строю для уничтожения ревизионистов и их подручников на нашем факультете». На нас дохнуло 1937 годом.

### *«Зачем мне эмпирически изучать червяка?»*

Эта фраза, произнесённая Я.М. Галлом на практикуме по зоологии, хорошо отражает умонастроение тех, кто после долгих колебаний выбрал своей специализацией философские проблемы биологии. И здесь каждому из нас приходилось перебороть некоторые внутренние установки, сформированные предшествующим обучением, понять принципиальное различие между спекулятивным и позитивным знанием.

Когда я поступал на философский факультет, я интересовался историей, международными отношениями и политикой. Но философии истории там не было, политикой «занимались» на отделении научного коммунизма, которое мы тогда дружно презирали, поэтому я решил для себя, что буду специализироваться по историческому материализму. Затем заинтересовала социология. Но кончилась хрущевская «оттепель», запахло брежневским «развитым социализмом», который все больше походил на неосталинизм. Вновь укреплялась «вертикаль» власти, повеяло новыми «идеологическими чистками» и репрессиями. Начались гонения на А.Т. Твардовского и А.Е. Солженицына.

По рассказам моих друзей, членов партии, на партсобраниях оживились ортодоксы. Вместо умницы профессора Н.М. Кейзерова секретарём парторганизации стал Д., считавший, что его главная задача на факультете состоит в борьбе с евреями и позитивистами. «Ушли» с факультета И.С. Кон и В.А. Ядов. С молодыми яркими ассистентами Ю.В. Перовым и Г.Ф. Сунягиным, специалистами по историческому материализму, мы познакомились позже, на семинарских занятиях. К моменту выбора специализации мне стало ясно, что на свободу творчества ни в социологии, ни в историческом материализме рассчитывать не приходится. А приспособливаться к политико-идеологической конъюнктуре я не хотел, да и понимал, что с моим неумением держать язык за зубами, вряд ли придётся долго трудиться на этом поприще. Приходилось вновь определяться, и не хотелось ошибиться. Выбор был не прост, так как подсознательно учитывалась престижность будущей специальности в студенческой среде.

Заповедником эстетствующих юношей и неспособных к точным наукам девиц считалось кафедра этики и эстетики. Там работали образованные и блестящие лекторы, в том числе М.С. Каган. На нашем курсе эту кафедру выбрало не мало сильных студентов Таня Акиндинова, Лена Добринская. Леня Казин, Ян Рокпелнис, Ира Эйдель (Носова), Илмар Башко и др. Заниматься там было интересно, многие лекции проходили в Эрмитаже и Русском музее, и при всякой возможности я присоединялся к ним и целые дни проводил, бродя по картинным галереям. Также достаточно серьёзно я занимался историей кино и литературоведением. Но роль чеховского героя, ничего не понимавшего в искусстве и всю жизнь пишущего о нем, меня не прельщала.

Примерно такой же репутацией пользовалась специализация научного атеизма, которую возглавлял профессор М.И. Шахнович, читавший яркие лекции, которые правильнее было назвать курсом по истории мировых религий и религиоведению. Само же название — научный атеизм — ассоциировалось с научным коммунизмом, что было для меня так же не приемлемо. У нас на курсе это поприще избрал только Миша Бениашвили, который был знаменит тем, что сдавал экзамены, не посетив ни одной лекции, не прочитав ни одной книги и не ответив правильно ни на один вопрос.

История философии считалась уважаемой специальностью. На кафедре работали В.Н. Комарова, Е.И. Водзинский, М.А. Кисель, З.М. Мелещенко. Но до современных философов мы ещё не дошли. В момент выбора специальности мы находились как раз на философии И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга. Их «ясные как солнце» сообщения о субъективном или трансцендентальном идеализмах воздействовали на мозги студентов, как огонёк в Вальпургиеву ночь, который влечёт в загадочные дали, а наутро просыпаешься с жуткой головной болью как после похмелья. Схоластические рассуждения о бытии и инобытии меня не прельщали, хотя на кафедру пошли хорошо успевавшие Валера Лейбин, Юра Фурманов и Володя Томилов.

Заоблачная философия диалектического материализма, законы и категории диалектики, их классификации и категории наводили скуку. Иной выглядели модные тогда гносеология и методология науки, за которые ратовали В.А. Штофф, Л.О. Резников и Мария Семеновна Козлова. Она вела у нас семинары и умела сделать интересным даже занятия по «Материализму и эмпириокритицизму» В.И. Ленина. В общественной жизни факультета Козлова оли-

цветворяла прогрессивное, либеральное начало, чем импонировала многим. Мы её шуточно звали «наша Диамаша». Козлова «совратила» на занятия гносеологией наверно самих сильных студентов нашего курса Валерия Лапицкого и Игоря Шмерлинга, и они написали под её руководством очень неплохие диссертации. Уговаривала она и меня специализироваться по методологии науки, но мне хотелось стать поближе к самой науке.

Хорошую репутацию на факультете имела кафедра логики, туда пошли Толя Еляков, Олег Подлишевский, Юра Роговой, Женя Рубан, Костя Сергеев. Было известно, что там работают прекрасные специалисты по математической логике И.Н. Бродский и О.Ф. Серебрянников, но мне не хотелось погружаться в дебри математики, а остальные её отрасли, на мой взгляд, не слишком ушли от диалектического материализма. Позднее мне пришлось много лет вместе с логиками заседать в специализированном совете по защите кандидатских и докторских диссертаций, и я убедился, что с этой кафедры шли всегда хорошие работы, в наибольшей степени соответствующие научным стандартам. Да и общий уровень её выпускников был в среднем выше, чем на других кафедрах.

На факультете достаточно успешно шла разработка философских проблем естествознания. Это было удивительно. Хотя в споре физиков и лириков первые тогда явно побеждали, но человек, любивший математику, физику и химию, вряд ли бы пошёл на философский факультет. В основном сюда попадали те, у кого в школе с ними были трудности. Тем не менее, студенты, выбиравшие философские вопросы естествознания для дальнейшей специализации, более или менее уже знали, что реально представляю собой современные науки. Этому помогало не только неплохое в те годы школьное образование. На первых двух курсах все будущие философы слушали обширные курсы по общей биологии и эволюционной теории, физиологии высшей нервной деятельности, антропологии, физике, химии, математике, кибернетике, сдавая порой с большими сложностями зачёты и экзамены. Все они шли у меня гораздо лучше, чем у большинства моих однокурсников.

В те годы релятивистская и квантовая физика были лидерами естествознания, а её создатели Н. Бор, Г. Гейзенберг, М. Планк, А. Эйнштейн и другие стремились философски осмыслить воздействие своих открытий на методологию науки и мировоззрение. Профессор философского факультета Владимир Иосифович Свидерский своими трудами по пространству и времени завоевал большой авторитет у физиков, которые в годы гонений даже приняли его на работу в Физический институт ЛГУ в начале 1950-х гг. Впоследствии он создал свою школу специалистов по философским вопросам физики (В.П. Бранский, В.Г. Иванов, А.М. Мостепаненко). Методологическими проблемами химии и вопросами моделирования успешно занимался В.А. Штофф. Заинтересовавшиеся математикой могли продолжить образование в данной области на кафедре логики, где читали лекции крупнейший математик А.А. Марков, затем сменивший его Н.А. Шамин и работали их ученики И.Н. Бродский и О.Ф. Серебрянников. До 1966 г. в состав философского факультета входило также Отделение психологии, где работали такие выдающиеся учёные как Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и Л.М. Веккер.

К этому времени стала модной биология. На первом курсе я бегал на лекции, которые читались в Главном здании университета. Ещё в Челябинске из научно-популярных журналов я уже знал, что молекулярная генетика не «продажная девка империализма», а передовой край современной науки. Молодой профессор Л.Н. Серавин читал блестящие популярные лекции о простейших, показывали фильмы о мейозе и митозе. Я купил только что изданный перевод учебника К. Вилли «Биология», и с увлечением штудировал все то, чего не было в нашей средней школе, где учили, что материальных носителей наследственности нет, что наследование приобретённых признаков — ведущий механизм эволюции, что главный закон жизни — единство организма и среды и т. д.

Ну а потом на факультете была такая легендарная личность, как доктор биологических наук, профессор Кирилл Михайлович Завадский<sup>3</sup>. Он руководил специализацией «философские вопросы биологии», которая была приписана к кафедре диалектического материализма В.П. Рожина. Мы знали, что к Завадскому попасть тяжело, писать у него сложно, но зато это действительно очень интересно, так как соответствует мировой науке. Куратор этой специализации был А.К. Астафьев. Когда началась вербовка студентов по кафедрам, он меня долго уговаривал попробовать. Эту специальность выбрал мой сосед по комнате и партнёр по преферансу Я.М. Галл. Ну а поскольку у меня тогда вообще стал вопрос, а не бросить вообще философский факультет, я решил попробовать.

В начале 3-го курса я приехал к Завадскому на дачу, где он читал лекции по истории эволюционных идей. Он меня пленил манерой обращения со студентами, искренней заинтересованностью в тех, с кем говорил, широтой мышления, взглядами, эрудицией. С первых занятий Завадский дал перечень тем для курсовых работ, расписывая каждую так, что это создавало представление нахождения на передовом фронте науки и возможности прорыва в ранг бессмертных. Прельщало меня и то, что здесь читались лекции по генетике, экологии, биохимии, физиологии и т. д., так как от абстрактных философских рассуждений меня уже буквально тошнило. На лекциях и лабораторных занятиях (резали лягушек, считали расщепления признаков у дрозофил и т. д.) мы получили знания в объёме первых общеобразовательных курсов биологического факультета. Учителя у нас были превосходные: зоологию читал палеонтолог Л.И. Хозацкий, выделявшийся в те годы своим неизменным военно-морским френчем, ботанику — флорист В.М. Шмидт, физиологию — Никитина, экологию — Н.С. Ростова. Но это было только начало. Далее мы должны были добирать много самостоятельно. Приходилось штудировать буквально сотни книг.

Особые сложности вызывала эволюционная теория, ведь, как писал Ф.Г. Добржанский К.М. Завадскому в 1974 г., трудно найти хотя бы двух эволюционистов, которые на одну и ту же проблему смотрели бы одинаково. У нас же в стране просто была катастрофа. В течение почти 20 лет в стране печатали под видом дарвинизма бредовые идеи Т.Д. Лысенко и его подручных. Мы, получившие основы биологических знаний по школьным учебникам, были весьма чувствительны к рассуждениям о законе единства организма и среды, о переделке наследственности, наследования приобретённых признаков. Какофония мнений, идей, концепций приводила в отчаяние. Непонятно было, с чего начинать.

Мне повезло: в руки сразу попала книга Дж.Г. Симпсона «Темпы и формы эволюции», вышедшая накануне позорной сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г. Я её долго штудировал, и вместе с «Факторами эволюции» И.И. Шмальгаузена они составили фундамент моих первоначальных представлений об эволюции. Шмальгаузена я знал практически наизусть, указывая по памяти даже некоторые страницы. На этом фундаменте укладывались последующие идеи, концепции, заставлявшие перестраивать и уточнять представления. Но без этого фундамента я вряд ли выплыл бы в море литературы по острым дискуссионным проблемам эволюции. Большую роль в моем эволюционно-биологическом образовании сыграла коллективная монография под редакцией В.И. и Ю.И. Полянских, появившаяся в печати в конце 3-го курса, а также первые после долгого перерыва переводные книги Ф. Шеппарда «Естественный отбор» и П. Эрлиха и Р. Холма «Процесс эволюции». Впоследствии я узнал, что на то время это были лучшие монографии и учебники по эволюционной теории, которые я довольно случайно выбрал как базовые.

Благодаря им я твердо усвоил, что отбор — это не некая мистическая сила, оставляющая лучших и элиминирующая неприспособленных, а процесс и результат сложного и противоречивого взаимодействия массы факторов. Воспитанному на знаменитом лозунге: «Наука — враг случайности» трудно давалось усвоение статистического механизма детермина-

<sup>3</sup> Я посвятил ему специальную книгу: Колчинский Э.И. Кирилл Михайлович Завадский. — СПб.: 2013.



ции, при котором мельчайшее преимущество лишь в среднем могло обеспечить выживание и размножение. Как иному по капле приходилось выжимать раба, так и нашему поколению довелось изживать лысенкоизм, возрождающийся все вновь и вновь в различных обликах под видом критики устаревшего дарвинизма.

Сразу выяснилось, как непросто на этой специализации. Пришло нас 9 человек, но уже к первой сессии осталось только 5, а вскоре уже 4. Ушёл даже наш староста Толя Колесников, закончивший до университета зоотехнический техникум и с первого курса уверявший всех, что занятие философией парнокопытных — это его мечта. Позднее он обрёл себя в критике философии Б. Рассела. Сомнения в правильности выбора мучили и меня. За первые два года обучения мы овладели какими-то знаниями, терминами, языком и стилем мышления, которые резко отличались от биологического дискурса. В биологии каждый объект индивидуален, а знание очень конкретно, чаще всего функционирующее в форме эмпирического, а не теоретического. Приученные витать в заоблачных даях, оперировать абстрактными категориями мы не сразу могли понять, зачем нам изучать червяка, ведь он такой маленький и к тому же можно его представить абстрактно. А для настоящего биолога не то что червяк, а вирус очень большой, а жизнь коротка, чтобы его понять.

В итоге только Боря Фетисенко, Яша Галл, Люда Турунхаева и я, в конечном счёте, прошли свою Голгофу, чтобы по окончанию университета перестать быть философами, но и не превратиться в биологов. Мы были чем-то вроде морской свинки: и не свинка, и не морская. Правда, существовала возможность стать лучшими биологами среди философов и лучшими философами среди биологов. Но для этого надо было много трудиться, и я неделями штудировал курс зоологии, а учебник А. Мюнцинга по генетике выучил буквально наизусть, перерешав все приведённые там задачи. Несколько лет мне пришлось даже читать генетику на философском факультете и на курсах повышения квалификации преподавателей дарвинизма. Нелегко было привыкнуть и к практическим занятиям.

К тому времени К.М. Завадский был очень болен, перенёс несколько инфарктов. Будучи профессором ЛГУ, он читал лекции по истории биологии и эволюционной теории, по философским проблемам биологии, руководил курсовыми и дипломными работами, а также аспирантами и докторантами. Первые два года все занятия проходили у него на квартире (Большая Разночинная улица Петроградской стороны, 9/13). Тогда там не было станции метро «Чкаловская», и мы ездили на трамвае. Как-то сразу становились вхожи в его дом, были знакомы с семьёй. Раз в месяц здесь же проходили семинары по эволюционной теории, на которых собирались все ученики Завадского, это давало возможность сразу почувствовать себя причастными к научной школе. На этих семинарах защищались и курсовые работы. Мы учились рецензировать работы друг друга, задавать вопросы, критиковать. Завадский как раз заканчивал работу над книгой «Вид и видообразование», давал нам читать некоторые разделы, и мы их нелюбезно критиковали.

С осени 1967 г. Завадский перешёл работать в Ленинградский отдел Института истории естествознания и техники АН СССР, расположенном на Таможенном пер. 2, на втором этаже П-образного здания сзади Главного здания АН СССР в Ленинграде, тогда там помещалось ХУЛУ — Хозяйственное управление Ленинградских учреждений АН СССР. Здесь он организовал сектор истории и теории эволюционных учений, куда вошли часть сотрудников прежнего сектора истории биологии и сотрудники ученики Завадского из ЛГУ. В это время он был руководителем моей курсовой работы на 4-ом курсе. Поэтому я иногда приходил сюда, но должен сказать, что у нас отношения с ним не особо складывались. Я был достаточно независим, и при всем уважении к нему, всегда имел свою точку зрения, и к тому же не мог привыкнуть к его насмешливой манере разговаривать. Но самое главное у меня были большие трудности с курсовой работой, и я не очень верил в возможность её успешной защиты в виде диплома.

Ещё на третьем курсе Завадский дал на выбор несколько тем курсовых работ. Я.М. Галл выбрал тогда тему «эволюция эволюции», а я — «типы взаимодействия живых систем». Что-то «типы» мне не нравились, а Галл не мог решить, как подойти к теме «эволюция эволюции». И мы решили махнуться. Вскоре я понял, что попал из огня в полымя. Кроме одной главы в книге английского генетика А. Шелла, написанной в 1936 г., никто и никогда не использовал сам термин. Кое-какие идеи на этот счёт в тезисной форме опубликовал И.И. Шмальгаузен. На 3-м курсе я ещё как-то написал курсовую по его трудам, а на 4-ом уже не знал, что делать дальше, хотя прочитал много книг и статей. Завадский ничем помочь не мог, ориентировал на анализ взаимоотношения концепций униформизма и катастрофизма в XIX как историческом введении, а что дальше делать, видимо, и сам не знал.

Получив за курсовую четвёрку, я решил уйти со специальности философские проблемы биологии, стать историком философии. Для этого была возможность. Я получил распределение в Институт истории АН ЭССР. Там собирались открыть философский сектор, где предполагались и исследования по истории философии. С кадрами у них было плохо, готовить они могли их только в академической системе, и собирались меня направить в целевую аспирантуру, если будет рекомендация от факультета. Предварительную рекомендацию могли дать только по результатам учёбы и курсовой. Завадский сказал, что подобную рекомендацию даст только в том случае, если диплом будет писаться по специальности философские проблемы биологии и предложил более понятную тему для диплома о мировоззрении и эволюционных взглядах Тимирязева. В конце 1930-х гг. он сам писал о нем кандидатскую диссертацию, но по разным причинам не стал защищать. В качестве руководителя Завадский предложил своего ученика и сотрудника из ЛО ИИЕТ А.М. Миклина, только что с блеском защитившего диссертацию по критериям прогресса. Понимая, как трудно начать с нуля и написать отличный диплом (а только в этом случае можно было рассчитывать на рекомендацию в аспирантуру), я согласился. С осени стал читать труды К.А. Тимирязева, которые мне все больше и больше нравились. Просматривая новые книги и статьи, постоянно прикидывал, что могло быть полезно для прежней темы, продолжая собирать материал по «эволюции эволюции».

Неожиданно в ноябре 1968 г. в журнале «Вопросы философии» была опубликована статья очень популярного тогда эколога и эволюциониста С.С. Шварца, посвящённая постановке исследуемой мной проблемы. Из неё я увидел, что нахожусь на правильном пути и что в разработке проблемы «эволюции эволюции» продвинулся дальше Шварца, ставшего вскоре академиком. Осознание этого факта ободрило меня. В итоге, читая днём Тимирязева, я вечерами садился писать диплом по эволюции эволюции. Когда я сдал текст на проверку Миклину, тот был доволен, ничего не исправил, кроме нескольких вводных предложений, и предложил печатать в таком виде для защиты. Он всячески расхвалил мой труд Завадскому. Высоко оценил работу и рецензент А.С. Мамзин, также ученик Завадского, подготовивший к этому времени докторскую диссертацию. При защите диплома комиссия поставила оценку «отлично с отличием» и даже обратилась в деканат, нельзя ли официально утвердить такую оценку.

Работа заинтересовала Завадского. Не видя диплома, но зная, что у меня есть шанс получить целевую аспирантуру, он предложил писать диссертацию в ЛО ИИЕТ АН СССР. Моё желание переключиться на историю философии было поколеблено. Завадский убеждал: «Ну ты что, ну чего ты поедешь в эту Эстонию, как ты там будешь заниматься историей философии, у тебя уже на 50% процентов сделана диссертация, сейчас приедешь, сдашь экзамены, станешь за год кандидатом наук». Завадский говорил справедливо, что там потребуются годы для подготовки и защиты диссертации по истории философии, а вот, что через год гарантированно будет кандидатская, явно лукавил. Но я ему поверил: кто ж не хочет быстро защититься. Завадский обратился к президенту Академии наук ЭССР А.Т. Веймару, что будет более целесообразным, чтобы я в краткий срок подготовил диссертацию по философским вопросам биологии, учитывая большой задел для этого в дипломе. А потом АН ЭССР сможет меня использовать так, как посчитает нужным. В итоге в октябре 1969 г., проработав в Таллинне ме-

нее трех месяцев, я вернулся в Ленинград сдавать вступительные экзамены в аспирантуру. Так Завадский вновь стал моим руководителем. Тема была predetermined дипломной работой, менять её не было смысла, раз она была оценена на «отлично с отличием».

Мои коллеги по специализации Я.М. Галл и Б.А. Фетисенко также остались в рамках школы К.М. Завадского для написания диссертации. Я.М. Галл был принят сотрудником в сектор К.М. Завадского, которые определил ему тему «Борьба за существование как фактор эволюции». Тема была историко-биологическая и Галл должен был защищать диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук. Боря Фетисенко попал во вновь созданный сектор философских проблем Института философии, возглавляемый А.С. Мамзиным. Сектор просуществовал недолго, и он не успел подготовить диссертацию о регрессе, часто увлекаясь другими, как ему казалось, более актуальными темами. В годы перестройки Боря увлёкся общественной деятельностью, избирался депутатом районного и муниципального уровня. Неожиданно с ностальгией стал вспоминать советское прошлое и уехал к сыну в США, откуда скоро вернулся. Последние годы мы видимся с ним редко, хотя он, бесспорно, один из наиболее достойнейших людей на моем жизненном пути, сохранивший свежесть восприятия и какую-то наивность до зрелых лет.

Людочка Турунхаева, которую мы звали ласково Турунхайчик, распределилась в Читу и к науке вновь обратилась нескоро, подготовив только в 1990 г. диссертацию по экологии. Она пригласила меня в качестве неофициального рецензента на предзащиту в Институте повышения квалификации ЛГУ, не предупредив своих коллег, что знает меня. В итоге возникло недоумение. Они, предполагая, что меня кто-то пригласил, чтобы завалить их Туруханчика, стали резко критиковать работу, признавая, в конце, что это частные замечания и труд может быть представлен к защите. Когда очередь дошла до меня, я выразил недоумение по поводу столь повышенной строгости и дал самый положительный отзыв, столь неожиданный для критиков. Она также была замечательным человеком, воспоминания о котором согревают душу каждого, кто учился с ней.

Несмотря на все трудности выбранной специализации, связанной с резкой перекалфикацией, я последние 40 лет никогда не жалел о своем выборе. Повезло мне и с коллегами, в естественной конкуренции при распределении мы не переходили границы приличия и расстались друзьями. Получив диплом, мы были представителями единственной специализации на курсе, собравшиеся вместе, чтобы отпраздновать окончание университета. Там же были и мои друзья с других специализацией, кто не смог договориться со своими о прощальном вечере. При распределении конфликты возникали, если кто-то не мог примириться с тем, что не его, а другого оставили в аспирантуре. Пятилетнее изучение мудрости и студенческая солидарность порой завершились вспышкой конкуренции и даже личной неприязни. Но все проходит, все забывается. Подавляющее большинство из нас с огромным удовольствием встретились через десять лет. Мне по-прежнему интересно, что стало с моими однокурсниками, с горечью узнаю о потерях. Слава о нашем курсе как сильном, независимом и солидарном коллективе, добившемся невозможного — отмены военной кафедры и коренного пересмотра учебного плана — долго жила на факультете.

Впоследствии мне пришлось пройти длительную эволюцию, став в конечном счёте историком биологии и специалистом по социальной истории науки. Ничего подобного я не мог предположить в новогоднюю ночь 1964 г., когда в не очень трезвом состоянии громогласно объявил, что поеду учиться в Ленинград. С другой стороны, оглядываясь на прошлое как некую совокупность случайных событий, кажется, что на самом деле это была жёстко детерминированная цепь. Ведь в конечном счёте я стал заниматься историей одного из аспектов политики, а именно научной политикой, взаимоотношениями науки с властью и обществом, что интересовало меня с раннего детства.